

РЕДАКТОРЫ:
Л. Л. БЕРМАН,
Б. И. ЛАГУНОВ,
Г. М. КОФФ.

СБОРНИК № 3.

ИЗДАНИЕ
КИЕВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА
ПОЛИТКАТОРЖАН и ССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ.
— 1925 г. —



ИЗ ЭПОХИ БОРЬБЫ С ЦАРИЗМОМ

РЕДАКТОРЫ:
Л. Л. БЕРМАН
Б. И. ЛАГУНОВ
Г. М. КОФФ

СБОРНИК № 3-й

ИЗДАНИЕ
КИЕВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕСОЮЗНОГО О-ВА
ПОЛИТКАТОРЖАН И ССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ
1925

ГОСУДАРСТВ. ТРЕСТ
„КИЕВ-ПЕЧАТЬ"
4-я ТИПОГРАФИЯ
УЛ. ВОРОВСКОГО 42.
ЗАК. № 1956—3500.
РУП.—КИЕВ—№ 7742.

СОДЕРЖАНИЕ.

Убийство Плеве и гибель Сазонова [1]).

В истории русского общественного движения имена Плеве и Сазонова занимают два противоположных друг другу полюса. Если в лице Егора Сазонова мы будем иметь ярко выраженный тип выдающегося революционера, то в лице бывшего министра Плеве мы увидим столь же ярко выраженный тип ярого слуги монархии, самодержавия и абсолютизма, тип, который со всей энергией отдал себя на служение этому строю и свою службу довел до своей логической, моральной и физической гибели.

Вячеслав Константинович фон-Плеве родился в 1846 году в Прибалтийском крае, в Курляндской губернии. По старой традиции, со времени Бирона, Прибалтийский край являлся поставщиком наиболее выдающихся лиц на посты правящей бюрократии. Осиротевший в детстве, Плеве был взят к себе на воспитание одним помещиком, поляком. Когда грянуло восстание 1863 года, юноша-воспитанник отличился тем, что донес на своего воспитателя, который участвовал в польском восстании. Этот ранний подвиг предопределил всю будущность Плеве.

Окончив Московский университет, он пошел по судебному ведомству, быстро двигался по служебной ерархии, занимая посты по судебному ведомству в Московской, Тверской губ. и был назначен впоследствии в Петроградскую Судебную Палату. Это было в эпоху возникновения Партии „Народной Воли", в эпоху первых террористических актов. Плеве пришлось вести следствие по делу о взрыве в Зимнем Дворце, Степана Халтурина. Он представил лично Александру 2-му доклад, который понравился, и имя Плеве выплыло, как имя наиболее способного деятеля в подавлении революционного движения. Как раз к этому времени, одновременно с попыткой насильственным образом победить движение партии „Народной Воли", были выдвинуты и другие методы комиссией графа Лорис-Меликова, стремившегося несколько удовлетворить мелкую либеральную буржуазию. Так называемая конституция Лорис-Меликова была далека от элементарного конституционного права, но тогда это казалось большим завоеванием, и все были удивлены, когда одним из работавших в этой комиссии явился Вячеслав Константинович фон-Плеве. Однако, когда после 1-го марта комиссия была уничтожена, фон-Плеве оказался директором департамента полиции в министерстве графа Толстого, наиболее ярого черносотенного министра. Когда один из титулованных бюрократов удивился, как граф Толстой решился взять в директора департамента полиции такого человека, как Плеве, который скомпрометировал себя участием в комиссии Лорис-Меликова,

[1]) По лекции Н. М. Ростова. Ред.

то Толстой ответил, что Плеве настолько умный человек, что знает, как вести себя при всяком положении.

В 1886 году Плеве был назначен товарищем министра внутренних дел, но во время Александра III-го, в эпоху самодержавия, православия и народности, хотя внешне Плеве и преуспевал, его немецкое происхождение не позволяло ему далеко выдвигаться.

Такое положение длилось до восшествия на престол Николая II-го. Во внутренней политике продолжался старый твердый режим. Плеве получил новое поле деятельности, он был назначен статс-секретарем великого княжества Финляндского и на этом посту пробыл до самой смерти. Он проводил решительную политику искоренения тех вольностей, которые упорно в течение многих лет отстаивали финляндцы. Когда 2-го апреля 1902 года, выстрелом из браунинга, Степаном Балмашевым был убит министр внутренних дел Сипягин, в рядах правящей бюрократии наступило довольно сильное смущение. Прежде всего сказался просто инстинкт собственного самосохранения. Убийство Сипягина явилось вторым террористическим актом, за год до этого был убит министр народного просвещения Боголепов. В такой момент нужен был решительный человек, который прежде всего успокоил-бы окружающих и который бы доказал самой правящей бюрократии, что для них не все еще потеряно. Таким человеком оказался Плеве. Он был назначен министром внутренних дел, и таким образом, долгожданный пост, которого он добивался 30 лет, та власть, которую он безумно любил, на старости лет оказалась у него в руках.

После убийства Боголепова Карпович был предан суду и приговорен к каторге, которую он отбывал в Шлиссельбургской крепости. Первым актом Плеве было предание Балмашева военному суду, и судьба его была предрешена. Казнь Балмашева явилась фактической декларацией Плеве той политики, которой он будет придерживаться в дальнейшем.

Плеве игнорировал российскую печать и часто давал интервью представителям иностранной прессы. Представителю французской газеты „Тан“ он говорил, что не ему, принадлежащему к поколению, которое подавило партию „Народной Воли“, не ему бояться революционеров нынешнего поколения. Он говорил о том, что правительство, взяв твердый курс, сможет решительным образом подавить всякое революционное движение. И действительно, с первого момента появления его у власти, как министра внутренних дел, начинается эпоха жестокого усмирения всякого революционного движения. Плеве громвысказывался, что революционное движение можно усмирить не только свинцом, но и плетьми, и применял их к людям, не лишенным права гражданства. Телесное наказание, которое по русским законам можно было применять только к лишенным всех прав состояния, стало применяться по отношению к тем, кто в той или иной форме выступал на арену революционной борьбы. В 1901—1902 г.г. было подавлено крестьянское восстание самым беспощадным образом Харьковским губернатором князем Оболенским, который не только порол, но и запаривал на смерть крестьян. Следом за ним граф Келлер в Екатеринославе применил это к забастовщикам—рабочим. Когда 1-е мая 1902 года в Вильне состоялась уличная демонстрация, арестованные демонстранты были наказаны розгами.

Помимо этого стал применяться и другой способ—расстрел масс. Наиболее нашумевший расстрел рабочих Златоуста повлек за собой

убийство Уфимского губернатора Богдановича рабочим Дулебовым, застрелившим его и сыгравшим в дальнейшем видную роль в революционном движении, между прочим, принявшим участие в убийстве Плеве. В Киеве, Екатеринославе, Одессе, Баку, Тифлисе и целом ряде других городов применялись жестокие меры против бастовавших рабочих. Но ведя жестокую войну с революцией, Плеве не стремился к примирению с наиболее умеренными кругами общества. И в отношении земства им применялась все та же железная рука, все те же ежевые рукавицы. Земское движение, которое и без того влачило полужалкое существование, в лице Плеве имело своего ярого, непримиримого врага.

В отношении печати Плеве с достаточной яркостью выявил себя. Одна часть печати развращалась субсидиями, другая совершенно подавлялась и искоренялась. Своей решительностью Плеве импонировал с одной стороны растерявшимся правящим кругам бюрократии, а с другой стороны нагонял панику. После многих случаев применения телесного наказания над крестьянами и рабочими, Нарышкин спросил Плеве: „Говорят, что в Петербурге ожидается выступление курсисток и студентов. Что Вы против них предпримете?“ — „Выпорю“, ответил тот. „То-есть, как курсисток?“, спросил бывший министр двора. „И курсисток“, ответил Плеве.

Таков был этот подлинный, настоящий выразитель идей, стремлений, желаний и образа действий той клики, которая так долго стояла у власти в России. Но всех этих методов подавления революционного движения, которые Плеве применял в свое время и на посту директора департамента полиции, оказалось недостаточно. Революционное движение, которое такой широкой волной разлилось в это время по стране, как-то не подавлялось так легко, как партия “Народной Воли“. Этот старый бюрократ, который пришел к власти с такими же взглядами, какие у него были 30 лет тому назад, воображал, что положение в стране нисколько не изменилось. Он думал, что имеет дело с новым революционным движением таким же, как и старым. Он не заметил той колоссальной разницы, которая отличает старое движение от нового, он не заметил изменения соотношения общественных сил в стране. Партия „Народной Воли“ и круги, которые окружали ее, представляли небольшую группу, ярко выраженную, наиболее прекрасную из того, что было в прошлом русском революционном движении, и в то же время слабую, потому что она опиралась только на самое себя, на свои собственные незначительные кадры. Эта небольшая, тесно спаянная группа лиц мечтала собственными силами сокрушить могущественный колос монархии. Эти великие энтузиасты-идеалисты не могли не погибнуть, хотя своей гибелью они нанесли не мало ударов царскому правительству. Совсем другое—революционное движение 900-годов. Здесь мы имели массовое движение, которое явилось результатом совершенно новой социальной обстановки в стране. Плеве проглядел это, проглядел все то, что творилось в стране за последние 20 лет. Он проглядел появление довольно большого, качественно-организованного рабочего класса он проглядел те стремления, какие возникли у крестьянства. Разумеется, деятельность Плеве могла окончиться только банкротством. В борьбе с новым революционным движением он стал применять еще один старый излюбленный способ, который впервые стал практиковаться в России в 1881 году. Я говорю о еврейских погромах, имевших место во времена графа Игнатьева. Погромы во время Плеве

имели наиболее откровенный характер. Они нанесли России огромный вред и скомпрометировали правительство в глазах заграничного общества, на которое Плеве возлагал столько надежд. Наконец Плеве попытался внешней войной на Д. Востоке отвлечь внимание общества от внутреннего положения страны и доказывал тогдашнему военному министру, что необходима маленькая победа, иначе революцию нельзя удержать. Но вместо маленькой победы получилось большое поражение, и революцию удержать ему не пришлось. К счастью для себя, он не увидел конца своих деяний, ибо судьба его уже была предрешена. Еще во время партии „Народной Воли" поговаривали о том, что с такии человеком, как Плеве, необходимо бороться террором. Разумеется, его появления у власти и всего того, что он проделал в течение двух лет, было достаточно, чтобы окружить его имя ненавистью. Несколько покушений на Плеве боевой организации С.-Р окончились неудачно, при чем одно, которое было совсем подготовлено, окончилось гибелью Покотилова, который накануне покушения взорвался в Северной гостиннице. Охрана Плеве была необычно усилена, и порой в революционной среде казалось, что нет никакой возможности даже приблизиться к Плеве. Он жил летом на Аптекарском острове, где впоследствии было покушение на Столыпина. Еженедельно он имел доклады у Николая II-го. Выезжал Варшавским вокзалом в Петергоф или в Царское Село. Последнее покушение боевой организации было тщательно обдумано. Подготовления совершались на ул. Жуковского № 28 в квартире, которую занимал Борис Савинков под именем англичанина Мак Кулона. Там жили: в качестве лакея прибывший из-за границы студент Женевского университета, Егор Сазонов, Бриллиант и Ивановская.

Поймать Плеве на Аптекарском острове при его выезде не представлялось возможным, потому что масса улиц являются удобными для движения к Варшавскому вокзалу, но в тот момент, когда Плеве выезжал на Измайловский проспект, ему до Варшавского вокзала было некуда свернуть с прямой дороги—эта улица оказалась наименее пересеченной, и на этом был построен весь план убийства Плеве. Незадолго до убийства группа лиц, тщательно выработавшая весь план, выехала из Петербурга. Наиболее ответственная роль по плану принадлежала Ивану Платоновичу Каляеву, впоследствии первая роль перешла к Егору Сазонову. Он был поставлен во главе технической группы, долженствовавшей нанести этот смертельный удар. Второе место занимал Каляев, третье место Боришанский и четвертое место молодой Сикорский. Снаряды для Плеве были сделаны Швейцером, причем десяти-фунтовый снаряд должен был быть брошен Сазоновым, остальные снаряды имели вес по 5 фун. Они были начинены магнезиальным динамитом и состояли из небольшой посудины, имевшей крест на крест поставленные ударные трубки, которые гарантировали взрыв при любом положении снаряда. 15-ое июля в 8 часов утра поезд с этой группой прибыл в Петербург на Варшавский вокзал. Сазонову оставалось преподать ряд технических указаний наиболее молодому участнику этого убийства Сикорскому. Для этого Сазонов и Сикорский отправились в отдельный номер бань, где они совещаясь, для отвода глаз лили воду. Выйдя из бань, Сазонов сел на извозчика, который, сидя на козлах, имел ноги покрытые кожаным фартуком. Этот извозчик был рабочий Дулебов, убивший Уфимского губернатора Богдановича. Под кожаным фартуком

хранились два снаряда. Один десятифунтовый, который он передал Сазонову, другой пятифунтовый—Сикорскому. С этим извозчиком они направились к Садовой. Сазонов, желая проверить, нет ли за ними наблюдения, положил снаряд на руки Сикорскому и зашел в табачный магазин, как-бы покупая папиросы. Выйдя из магазина, он прошел несколько кварталов и убедился, что за ними наблюдения нет. Отпустив извозчика, они пошли пешком. Дулебов повернул обратно, и только глазами они могли попрощаться, когда эти два уходили на верную гибель. Пройдя всю улицу, Сазонов и Сикорский вошли в ограду церкви. Там находился в это время Боришанский и Иван Каляев. Все имели снаряды. Отсюда группа разбилась в том порядке, в котором они должны были действовать, наступая против Плеве. Первым со снарядом в руке шел Боришанский, вторым шел Сазонов, третьим Каляев и четвертым Сикорский. Пройдя ряд улиц, они вышли с Обводного канала правым берегом его и пошли в сторону Варшавского вокзала. Таким образом приблизительно к 9-ти часам группа террористов подходила, растянувшись длинной лентой, к мосту, перекинутому через Обводный канал от Измайловского проспекта к Варшавскому вокзалу. Боришанский прошел Варшавскую гостиницу в тот момент когда Плеве в своей карете ехал напротив. Сазонов только успел перейти мост и дойти до находящейся на углу Варшавской гостинницы, Каляев и Сикорский остались на той стороне моста. Таким образом к 9-ти часам утра картина получилась такая: пересекая Вознесенский проспект, карета Плеве, запряженная парой вороных лошадей, вскачь неслась по Измайловскому проспекту. В это время оба конца оказались замкнутыми таким образом, что если бы Плеве вздумал повернуть обратно, он наткнулся бы на Боришанского. Если бы дело Сазонова у Варшавской гостинницы не удалось, если бы бомба не взорвалась, то выход с моста запирал Каляев. Местность эта была настолько не пересеченная, что увернуться не было возможности.

Когда Сазонов, перейдя мост, подходил к Варшавской Гостиннице, он увидел быстро двигающуюся карету министра внутренних дел. Боришанский пропустил Плеве мимо себя. Плеве ехал с усиленной охраной. Впереди его на лихаче ехал полицеймейстер, сбоку охранник-велосипедист, сзади ехали два охранника тоже на лихаче. Уже за минут 20—30 до его появления на улице все дворники стали у ворот, и масса охранников появилась на панелях, полицейское оживление было сильное. Карета Плеве двигалась по средине улицы, держась ближе линии конной железной дороги, (тогда трамвая не было). В этот момент, когда карета вскачь неслась мимо Варшавской гостинницы, самой судьбе угодно было подтолкнуть Плеве к тому удару, который должен был разразиться над ним. Впереди кареты Плеве ехал на извозчике офицер Семеновского полка. Кучер Плеве, желая обогнуть карету, сделал поворот и этим приблизил карету к панели. Сазонов увидел приближающуюся карету, быстро соскочил с панели и кинулся ей на перерез. Он раcказывал, что в тот момент, когда он шел навстречу Плеве, Плеве облокотившись, смотрел в граненное стекло кареты. Увидя Сазонова, Плеве моментально понял, в чем дело, и на лице его изображался такой ужас, что Сазонов долгое время сам без ужаса не мог вспоминать выражения глаз Плеве. Террорист и министр вперились друг другу в глаза, и в этот момент Сазонов, приблизившийся к карете, бросил бомбу в окно. Раздался оглушительный взрыв. Все те, кто охранял Плеве, моментально ис-

чезли, и если бы Сазонов не был ранен, он мог бы уйти свободно. Против Варшавской гостинницы лежала разбитая карета Плеве и несколько в стороне лежал изуродованный труп министра внутренних дел. В стороне лежал кучер, тяжело раненный охранник Гартман, впереди лежала карета извозчика, в которой ехал офицер и, наконец, в стороне лежал Егор Сазонов. Лошади промчались мимо Каляева и Сикорского и понеслись прямо к вокзалу. Кругом не оказалось ни души, и только минут через 10 Сазонов, прийдя в себя, приподнялся и, увидя лежащего на земле Плеве, воскликнул: „Да здравствует Боевая Организация". Этим возгласом он выдал себя. Остальные: Каляев и Боришанский, двигаясь совершенно спокойно в сторону от Измайловского проспекта, вышли к техническому институту и скрылись; Сикорский нанял извозчика, проехал мимо всей этой катастрофы и также скрылся. Впоследствии он был арестован, когда пытался в Неве уничтожить неиспользованный им снаряд. Трусливая компания охранников увидела, что нет ни одного террориста кругом, кинулась на раненого Сазонова, его топтали ногами, плевали ему в лицо. Он впал в бессознательное состояние, и в таком виде был отвезен в Кресты. Закончился один из мрачных периодов русской истории.

Департамент полиции никак не мог установить, кто тот человек, который убил министра внутренних дел. Наиболее от'явленный охранник Гурович под видом врача был приставлен к Сазонову, чтобы у больного попытаться выведать все то, что не могли узнать иными путями. Бред Сазонова записывался стенографически. Гуровичем. Он умудрился срисовать в четырех красках портрет с раненого Сазонова. На основании этого бреда они делали попытку найти малейшие нити к раскрытию всего этого дела. Когда Сазонова приводили в сознание, то этот Гурович говорил ему, что „Вы убили сорок человек и среди них одну маленькую девочку". Сазонов вспомнил, что в тот момент, когда он пересекал улицу, он видел, как маленькая 6-тилетняя девочка перебегала улицу. В бреду Сазонова эта девочка часто фигурировала. Сазонов приходил в отчаянье. Ему говорили, что он назвал своих соучастников, и создали такую атмосферу, что Сазонов был уверен, что он оговорил своих товарищей. Только тогда, когда он увидел присяжного поверенного Карабчевского, он убедился во всей неверности своего убеждения. Тогда у него вырвалась фраза, которую он записал в одной из книг тюремной библиотеки. Впоследствии Измайлович прочла эту надпись: „Товарищи, не попадайтесь живыми в руки врагу, он ужасен". Таково было состояние человека, которого довели до того, что он решил одно время на суде даже не говорить от имени кого и по поручению кого он совершил этот террористический акт, ибо он считал себя окончательно скомпрометированным человеком.

После убийства Плеве на место министра внутренних дел был назначен князь Святополк—Мирский. Началась эпоха доверия, „весны", и разговоров о смертной казни не могло быть. Сазонов и Сикорский судились в Петербургской палате, которая приговорила Сазонова к бессрочной каторге, а Сикорского к 20-ти годам. Срок наказания впоследствии был сокращен Сазонову до 14 лет, а Сикорскому до 10-ти лет. С этим сроком, рано утром в декабре 1904 г. Сазонов и Сикорский были доставлены в Шлиссельбургскую крепость. Там их посадили в старую тюрьму, так называемый „Сарай", где содержали в абсолютном одиночестве. Старые народовольцы были сосредоточены в так

называемой новой тюрьме. В старой тюрьме находились только Гершуни, Мельников, Карпович. Когда туда привели Сазонова и Сикорского, этих увели, и они остались совершенно одинокими. Революция 1905 отменила Шлиссельбургскую крепость, и Сазонов был переведен в Бутырскую тюрьму, а оттуда весной 1906 года в Акатуевскую тюрьму. Отправленный в Сибирь, он не перестал быть об'ектом ненависти всей господствовавшей бюрократии, ибо, если в первый момент царское правительство, растерявшись под ударами революции 1905 года, не имело ни сил, ни возможности казнить Сазонова, то это не значило, что оно забыло, кто такой Сазонов. Оно ни на одну минуту не могло забыть, что Сазонов убил Плеве, а Плеве—это все то наиболее решительное, активное и верное, что было в рядах монархии. При первом появлении Сазонова в тюрьме в Сибири, начались попытки тем или иным способом сжить его со света. Как только волна революции 1905 г. прошла, и реакция начала чувствовать некоторую силу, первые удары обрушились в Сибири на ту группу, которая была переведена из Шлиссельбургской крепости. Весной в Акатуй была доставлена группа политкаторжанок, Фиалка, Спиридонова и другие. Эта группа содержалась вместе с ними, хотя там и не было женской тюрьмы. Сибирская тюремная администрация несколько отличалась от российской. Сибирская администрация имела долгий навык в управлении тюрьмой, и она выработала собственные методы управления, она стремилась несколько мягче обращаться с заключенными, ибо этот способ создавал ей меньше хлопот. Сазонов пользовался большим влиянием в среде политической каторги, оно опиралось исключительно на высокий моральный авторитет, которым он обладал.

Сазонов родился в 1876 году в семье старовера в гор. Уфе. Отец его был типичный, убежденный сторонник царя, веры, родины. Мать его была обыкновенная женщина, которая главную цель своей жизни видела только в своих детях (она жива и поныне). Отец Сазонова разбогател в лесной торговле и мечтал о том, чтобы своему сыну создать видное положение врача или юриста. Сазонов учился в Московском университете. В первое время, будучи студентом, он принадлежал к социал-демократическому кружку. Но Сазонова не манила к себе марксистская догма. Когда впервые появились группы социалистов-революционеров, Сазонов примкнул к ним. Он мечтал о том, чтобы все революционные организации об'единить в одну дружно работающую семью. Арестованный в Москве и выпущенный затем на свободу, он вернулся в Уфу и примкнул к союзу социал-демократов и социалистов-революционеров. Этот Союз быстро распался. Сазонов снова был арестован, просидев недолго, об'явил голодовку. Он голодал тогда 7 дней, был переведен в Екатеринбург, а оттуда отправлен в Якутскую область. Во время его пребывания в Екатеринбурге случился расстрел рабочих в Златоусте. Сазонов узнал об этом, и письма его полны гневом по поводу этого чудовищного преступления. По дороге в Якутскую область Сазонов бежал с определенным намерением примкнуть к террористической деятельности. Из Сибири он направился на юг России и попал в Одессу. Одно время он скрывался у В. И. Сухомлина. Из Одессы он направился на Гусятин и на границе был застигнут жандармом в одной квартире. Он назвал себя приказчиком города Проскурова. На беду жандарм сам оказался жителем Проскурова и начал расспрашивать его о городе. Сазонов никого не знал, но вывернулся тем, что он от Мо-

сковской фирмы, недавно приехал. Тогда жандарм потребовал документы. Когда Сазонов доставал бумаги, у него выпала из кармана черносотенная газета. Жандарм, увидав у него черносотенную газету, решил, что это не опасный человек, и отпустил его. Сазонов вернулся в Одессу, оттуда отправился в Женеву. Там он предложил свои услуги для убийства Плеве. Всей своей натурой Егор Сазонов както резко выделялся среди всех тех, кто окружал его. Это был человек, который всей своей организацией, своим мышлением не только чувствовал, но и говорил другим, что он обреченный человек, что он должен жить для других и должен погибнуть за других. В каторге, когда над кем-нибудь делали какое-нибудь насилие, оно встречало резкое противодействие в лице Сазонова. Он говорил: чтобы не делали со мной, у меня хватит силы для того, чтобы это снести, но когда затрагивается честь и достоинство кого-нибудь из „малых сих“, здесь мы должны решительно протестовать.

Из Акатуя Сазонов вместе с другими товарищами был переведен в Алгачи. При этом переводе начальник Акатуевской тюрьмы сказал Сазонову: „будьте осторожны: хотя перевозят многих, но главным образом Вас“. Начавшийся нажим администрации, в лице начальника Алгачинской тюрьмы Бородулина и под общим руководством начальника Нерчинской каторги Метуса, продолжался и там. И Сазонов был, видимо, в центре внимания. Произошла, наконец, очередная, спровоцированная администрацией, тюремная трагедия и вместе с ней, первое покушение царского правительства на Сазонова. Сазонов был избит.

В это время в Сибири находилась Серафима Клитчоглу, которая послала подробную телеграмму 2-ой государственной думе. Произошел запрос фракции социал-демократов и социалистов-революционеров по этому поводу. Характерно, что министр Щегловитов в своем ответе счел нужным отгородиться от применения телесного наказания, счел нужным подчеркнуть, что в отношении политкаторжан не было применено телесное наказание. Но последовал и более веский ответ на избиение Сазонова: через две недели после погрома в Алгачах был убит начальник каторги Метус, а через два месяца был застрелен, переведенный в Псков, Бородулин—в тот момент, когда он выходил со двора Псковской тюрьмы. Таким образом местное сибирское начальство увидело, что посягательства на жизнь Сазонова могут окончиться для него плачевно, и Сазонов был оставлен в покое. Из Алгачей он был переведен в Горный Зерентуй, который отличался более мягким режимом. Но по мере того, как правительство Столыпина начинало чувствовать себя крепче, отношение к Сазонову снова резко изменилось, что иногда выражалось в своеобразной форме; так, неожиданно, среди глубокой ночи, зимой, когда в окнах вставлены двойные рамы, начинался обстрел той одиночки, где сидел Сазонов.

Чтобы подтянуть тюрьму, в Горный Зерентуй назначается начальником известный уже палач Высоцкий. Он был начальником Николаевских арестантских рот Пермской губ. и прославился зверским обращением с депутатом Ананьиным. После разоблачений, сделанных в „Русском Богатстве“, Высоцкий был убран с места начальника Николаевских арестантских рот и назначен начальником в Горный Зерентуй. Как только узнали о назначении его, были приняты меры к тому, чтобы не допустить его появления в Горном Зерентуе. Попытка покушения на него окончилась неудачно. С другой стороны, инспектор главного управления Сементковский, который был в Гор-

ном Зерентуе, и который не был в курсе дел департамента полиции, хлопотал о том, чтобы оставить прежнего начальника Чемоданова. Вся каторга была изумлена, что ходатайство главного инспектора не было удовлетворено. По мере приближения срока приезда Высоцкого тревожное настроение среди политических увеличивалось. На случай применения телесного наказания к политическим каторжанам решено было ответить массовым самоубийством, и публика стала запасаться ядами. Петр Куликовский, осужденный на каторжные работы за убийство московского градоначальника графа Шувалова, узнал о всех этих приготовлениях и, желая спасти товарищей, обратился к полковнику Забелло с заявлением, что если к политкаторжанам будет применено телесное наказание, то последуют массовые самоубийства, которые будут иметь печальные последствия для самого полковника. Он надеялся, что когда он сообщит тюремному начальству, что могут произойти самоубийства, то произведут массовые обыски, отберут орудие самоубийства, и товарищи будут спасены. Но полковник Забелло этого не сделал; он сказал, что он не позволит применить телесное наказание к политкаторжанам. 21-го января Высоцкий прибыл в Горный Зерентуй и, представляясь начальнику каторги, дал ему понять, что не будет считаться с ним, как с начальником. И Забелло понял, что у Высоцкого есть нечто, что сильнее его прав и полномочий. Он боялся Высоцкого и боялся за свою собственную жизнь, и на почве этой двойственности разыгрались кровавые события.

В Горный Зерентуй Высоцкий привез с собой от'явленных негодяев-надзирателей из Николаевских рот. На другой день старший надзиратель уже говорил, что Высоцкий, разгуливая по корридору, заметил: „задам я военным, в первую очередь их перепорю“. Он имел в виду военного фельдшера Петрова и поручика Пирогова, осужденного за восстание. Затем стало известно, что Высоцкий ко дню приема тюрьмы велел привезти воз розог. Этот слух дошел до политической каторги, и последние снова обратились к полковнику Забелло с предупреждением о всех тех последствиях, которые могут произойти. Полковник Забелло, слабый человек, зная, что он ничего не может сделать, ответил лаконически, что он не допустит применения розог. На приеме вольной команды Высоцкий сказал: „у меня нет разницы между политическими и уголовными. Я буду применять розги по отношению ко всем и никаких начальниц каторги и их кухарок слушать не буду“. Он имел в виду жену полковника Забелло, которая была близка к каторжанам, и дети которой учились у некоторых каторжан. Заметив отсутствие Нейского, который был болен, велел его привести. К политической каторге он обращался в третьем лице, не говоря, ни ты, ни вы. В общем прием вольной команды прошел без всяких инцидентов. Имея в виду, что здесь главным образом поставлена на карту жизнь Сазонова, было решено принять все меры к тому, чтобы при посещении Высоцким тюрьмы не давать повода для конфликта. Лично Сазонов принял все меры для того, чтобы не дать ни малейшего повода для придирок. Он остригся, привел в порядок костюм. Высоцкий начал прием тюрьмы с политической камеры № 6, при появлении его скомандовали „смирно“, но никто не встал. Высоцкий приказал конвою войти в камеру и всех подымать насильно. Одного подымут, а другой в это время снова садится. Тогда Высоцкий приказал всю камеру посадить на карцерное положение, а часть заключенных посадить в карцера. Когда он

пришел к Егору Сазонову, тот встретил его стоя, держа руку за спину. Высоцкий обратился к нему в третьем лице и сказал: „Зачем рука здесь“. Сазонов молча опустил руку. Тогда Высоцкий, подойдя к нему, сказал: „По этому месту сечь будут“. Сазонов ответил: „Я пережил Метуса и Бородулина, что будет дальше—не знаю“.

Через два дня, 26-го, в карцерах и общих камерах была об'явлена голодовка. Как-то утром по карцерам стали разносить хлеб. Надзиратель предложил Петрову хлеб, тот отказался. Тогда надзиратель говорит: „бери хлеб, иначе я тебе его палкой запихаю“. Петров взял хлеб и выбросил его из камеры. Следующим содержался Сломянский, там произошла такая же сцена. Сломянский вышвырнул вон хлеб. Надзиратель обратился к Высоцкому с заявлением, что Сломянский и Петров бросили ему в лицо хлеб. Высоцкий приказал Сломянскому дать 25 ударов. Сломянского, несмотря на сопротивление, насильно вытащили и положили на скамью, причем надзиратель, держа розги в руках, не применял наказания. Тогда Высоцкий приказал позвать фельдшера Крылова. Крылов отказался присутствовать при порке. Позвали фельдшера Шляера, который заявил, что Сломянского нельзя пороть, так как он болен пороком сердца. Однако Высоцкий не обратил на это внимания, и Сломянский был высечен. При этом Высоцкий говорил: „будешь хлебом бросаться“, и считал удары. Через некоторое время Петров был вызван в контору к Высоцкому. Нельзя установить, каков был разговор между Высоцким и Петровым, но Высоцкий приказал наказать его 35 ударами. Петров был бессрочным каторжанином, он снял с себя наручники и пытался ударить Высоцкого, но в это время тот вскочил, и удар пришелся по голове надзирателя Сморшевского, который упал. Тогда Высоцкий приказал бить Петрова прикладами, но не колоть на смерть. Жестоко избив прикладами Петрова, ему дали 35 ударов. Вернувшись в камеру, Петров облил себя керосином и зажег.

Через некоторое время помощник Гарин привел уголовного и посадил в камеру, где сидел Павел Михайлов. Михайлов вышел и заявил, что не будет сидеть вместе с ним. Об этом было доложено Высоцкому, который приказал дать ему 25 ударов. Павел Михайлов войдя в карцер, принял морфий, но так как для действия яда нужно продолжительное время, то он попросил другого, сидевшего в карцере, чтобы тот дал ему азотной кислоты, причем обещал, что примет ее только тогда, когда поведут его на порку. Когда открылась дверь, он тут-же выпил азотной кислоты, а так как это было на 3-й день голодовки, то ожоги были настолько ужасны, что он долгое время не мог оправиться... Таковы были события одного дня 27-го ноября.

На Нерчинской каторге содержались некоторые члены Государственной Думы, и в числе их был депутат Серов. За ним последовала жена его она; была в центре всей политической каторги, через нее происходила переписка не только между волей и тюрьмой, но и между отдельными тюрьмами. Впоследствии оказалось, что эта Серова была на службе в охранном отделении. Таким образом все, что Сазонов писал, копировалось и передавалось жандарм. полк. Познанскому. Власти, следовательно, прекрасно знали, что если будут наказаны розгами Петров и другие, то первым, кто покончит с собой, будет Сазонов. Сазонов писал: „Только такова должна быть наша позиция; если на приеме тюрьмы оскорбление будет нанесено мне, то я это снесу; но когда оскорбление будет нанесено другим, то я

принужден буду покончить с собой". Между тем Сазонов находился в таком положении, когда меньше всего ему хотелось погибнуть. До воли осталось всего 2 месяца. Там, на воле находились люди, которых он любил больше всего. Его трогательная и нежная любовь к матери сквозит в каждом слове в его огромной переписке. В Лондоне жила его невеста, Мария Алексеевна Прокофьева. В последних письмах Сазонова сквозь обычную грусть сквозило чувство радости, что кончатся эти годы каторги, и удастся выйти на волю. Но теми силами, которые находились не на каторге, а там, в центре правительстенной власти, его судьба была предрешена. Вечером 27-го Егор подошел к форточке камеры, где жили работавшие в переплетной, и попрощался с товарищами; грустная улыбка лежала у него на лице. Своему другу Грише Фролову Егор бросил записочку. Имевшийся у него яд-стрихнин ему удалось заменить морфием. В 7 часов камеры были заперты, и Сазонов остался один в одиночке—для того, чтобы пережить, может быть, самый ужасный момент в своей жизни. Вторично он стоял перед лицом гибели. Теперь, конечно, это ему было гораздо тяжелее. В своей последней записке товарищам он писал: „Сегодня ночью я попытаюсь покончить с собой, я знаю, что если чья-нибуть смерть остановит поток этих жертв, то только моя. Поэтому я попытаюсь сегодня сделать это". Была поздняя ночь, 3 часа. Тюрьма вся спала. Только Сазонов не спал. На дворе было темно, в замерзшие окна, точно крылья смерти, бились хлопья ноябрьского снега. Было тихо. Он выпил яд, потушил лампу и лег. Он не издал ни единого звука и лежал целый час, пока не пришла в 4 часа смена. Он умирал, и никто не знал бы об этом если бы надзиратель, обойдя одиночки, не увидел бы потушенную лампу. Два раза прокричав: „Сазонов, у вас лампа погасла, и не получив ответа, он дал сигнал тревоги. Пришедший старший надзиратель Черевко открыл дверь и услышал слабый стон. Он сразу понял, в чем дело, и Сазонова перенесли в больницу. Здесь особенно ярко сказалась та жестокость, которая руководила тюремщиками. Если бы Сазонову, по свидетельству врача, своевременно была оказана медицинская помощь, то его можно было бы спасти, но первая медицинская помощь ему была оказана в 20 мин. 8-го. Лежа на полу в тюремной больнице, он медленно и тихо умирал, не проронив ни одного слова. Около него лежал носовой платок, в одном из углов которого были завязаны две маленькие иконки—благословенье матери. Так умер один из выдающихся революционеров нашего времени, человек, который видел цель своей жизни исключительно в том, чтобы не только служить другим, но и в том, чтобы в личной жизни быть примером для них. Тело Егора Сазонова было перенесено из больницы в одиночку, ночью же отнесли далеко его в степь, за сопки, и там зарыли. Земля была утоптана, дабы никто не мог найти могилы Сазонова. Известие о смерти Сазонова радостно прозвучало в департаменте полиции. Когда получилась в Департаменте телеграма „Егор Сазонов умер", то департамент даже не поверил полковнику Познанскому и послал запрос на имя полковника Забелло. Когда они убедились, что Сазонов действительно покончил с собой, тогда появилось знаменитое правительственное сообщение, в котором говорилось, что в Горном Зерентуе готовился ряд побегов, что политкаторжане пытались отравить конвой, и что для этой цели была приобретена большая порция яда-тиоколя. Вскользь упоминалось о происшедших событиях и о смерти Сазонова. Нужно при этом заметить, что тиоколь вовсе не яд,

а обыкновенный медицинский препарат, который употребляется для лечения легочных болезней. Этот тиоколь арестанты выписывали массами наравне со всякими другими препаратами знаменитого доктора Пелля. Конфуз получился необычайный. Любопытно, что автором этого злополучного тиоколя явился тот же легкомысленный полковник Познанский. Известие о смерти Сазонова поразило все то, что уцелело от реакции живого в стране, но, если чувство великой скорби охватило все революционное, все честно мыслящее в стране, то чувство радости охватило все черносотенное, реакционное в ней. Многие помнят, как Марков 2-ой во время запроса в думе кричал с трибуны: „Здесь кричат о Егоре Сазонове, о том, кто убил Плеве. Слава Богу, что он умер, как жаль, что он родился". Ответом на смерть Сазонова, несмотря на принятые департаментом полиции меры специальной охраны Высоцкого, был выстрел в него соц.-рев. Б. И. Лагунова. После покушения на его жизнь, Высоцкий был переведен через некоторое время во Владивосток, где во время революции 1917-го года он был арестован. О дальнейшей судьбе его в нашем распоряжении нет никаких данных.

Революция 1917-го года уничтожила Нерчинскую каторгу. Товарищи решили розыскать труп Егора Сазонова. Администрация тюрьмы закопала его чрезвычайно глубоко. Земля в Сибири оттаивает на очень небольшую глубину, таким образом тело Сазонова не должно было сильно разложиться. Но трудно было найти его могилу. Пришлось из Забайкалья привести одного надзирателя, который покинул службу после рассказанных событий, но помнил приблизительно место, помнил потому, что, идя при выносе трупа Сазонова из одиночки, он случайно сосчитал примерное количество шагов, и поэтому удалось розыскать труп Сазонова. Он был выкопан и, почти в сохранившемся виде, был привезен в гор. Уфу, где торжественно был похоронен. Свободной России ему не пришлось увидеть, и только мертвым он вернулся в свой родной город, из которого он в 1902 году ушел полный сил, надежд и веры в светлое будущее. Много, очень много жертв русские революционеры принесли за долгие годы борьбы с монархией. Политическая каторга, начиная со времени декабристов, знала безконечное количество жертв, но в среде русских политических каторжан ярким является имя Егора Сазонова. Что-то необычайно обаятельное всегда окружало его. Это имя всегда действовало не только на своих,—тюремная администрация всегда говорила: „хорошо, Вы только в качестве депутата не посылайте к нам Сазонова". Он никогда не повышал голоса, но он всегда одним своим приближением действовал так, что самый лютый враг обезоруживался и становился ручным. Так могущественно влиял он на других, и если имя того человека, который стоял на противоположном полюсе, имя Плеве, и поныне может быть памятно, как наиболее ненавистное имя чудовищного человека, давившего абсолютно все свободное и живое, что было в стране, то его противоположность — имя Егора Сазонова навсегда останется светлым среди русской общественной мысли.

К статье „Убийство Плеве и гибель Сазонова".



Раненый Егор Сазонов (снят 5 августа 1904 г.).

К статье И. И. Жуковского-Жука.



В. В. Коновалова.

К статье *В. Чер.* „Краткие биографические сведения о казненном И. Я. Давиденко.



И. Я. Давиденко.

Южное Военно-Техническое Бюро.

(Воспоминания, прочитанные на субботнике Киевского Отд. политкаторжан 31-го января 1925 года).

Я поделюсь своими воспоминаниями о первых годах моей революционной деятельности, которая началась в Киеве. Сам я не уроженец Киева, но учился и революционную деятельность начал в Киеве. Расскажу—главу из книги, которая еще не написана, но которую я с одним из моих товарищей задумал на основании имеющегося у нас материала. Эта книга будет называться „Террористическая деятельность социал-демократии". Такое название на первый взгляд звучит парадоксально. В 1903 г. я вступил в революционную работу 18-ти летним юношей. В это время по Югу России прокатилась волна забастовок, характеризовавшая собой общий революционный под'ем во всей стране. Революционные идеи уже насытили собою политическую атмосферу. Везде, на каждой улице, в каждом закоулке, в каждом дворе можно было встретить прокламации различных организаций: с.-д., анархических, с.-р. и др. Уже тогда, летом 1903 г., рабочие, которые по заводам были организованы в пятерки, десятки и небольшие группы, представляли собой спаянные боевые единицы. Уже тогда рабочие говорили о том, что недостаточно агитации и пропаганды, недостаточно слова печатного и устного и что, вероятно, уже скоро придется переходить к действиям революционным и боевым. Уже тогда некоторая часть рабочих говорила о том, что необходимо вооружаться, что пролетариат может бороться со своим врагом только с оружием в руках. Молодые революционеры, к числу которых я принадлежал, очень были отзывчивы на эти настроения рабочих. Мы искали ответа на эти вопросы, но в социал-демократической литературе эти вопросы не затрагивались. Забастовки прошли. Волна спала. Разговоры о вооружении рабочих, о том, чтобы запасаться оружием, взрывчатыми снарядами стали понемногу утихать, и мы снова вернулись к своей повседневной работе, к агитации и пропаганде. 1904 год ознаменовался тоже некоторым затишьем, а затем, благодаря Японской войне, снова революционное настроение стало подыматься. 1904 г. мне пришлось провести на Юге—на Кавказе, в Донской области, и к концу 1904 г. я снова приехал в Киев и снова занялся революционной работой на заводе Гретера, на Южно-Русском машиностроительном заводе и др. Снова поднялись разговоры о том, что хотя мы социал-демократы, но нам нельзя ограничиваться одной пропагандой в такое время, а нужны более активные действия. Уже в 1904 году, во время мобилизации, во время отправки войск в Ман-

джурию происходили столкновения между командным составом и солдатами. С-р. очень удачно использовывали это недовольство. С-р. выступали перед солдатами во время посадки в вагоны. Привлекали на свою сторону массу солдат удачно брошенным словом, удачной пропагандой, а затем вели за собой массу в открытых выступлениях. Они частично вели в дороге свою работу и затем нередко при приближении к фронту достигали тех результатов, каких хотели.—Меня лично натолкнул на необходимость боевой работы такой случай. В 1904 году, кажется, в августе, здесь в Киеве организовался даже чуть ли не с разрешения генерал-губернатора, профсоюз торговых служащих. Помню общее собрание этого союза, которое было созвано в Народном доме (Троицком). Организаторов этого профсоюза я не помню. Это были сторонники так называемого экономизма. Собрание должно было утвердить устав и положить начало этой организации.

Мы, группа с.-д., явились туда с заранее определенной целью использовать это собрание для того, чтобы доказать рабочим невозможность организации легального профсоюза в условиях самодержавного строя. Явились на всякий случай вооруженные. Мы не знали, в какую форму выльется наше выступление. Но были готовы к тому, что может быть придется выступать с оружием в руках. Все товарищи заняли соответствующие места в толпе и выжидали момента. Такой момент наступил после выступления нескольких ораторов, после того как перешли к чтению устава. Нужно сказать, что во дворе были казаки и полиция, а на собрании присутствовал полицмейстер. Во время паузы выступает один из товарищей, кажется Скрыпников. Вскочив на стол, он возбужденным голосом произносит: „Граждане, до каких пор мы будем рабами?". Конечно аудитория сразу закипела. С одной стороны та часть, которая хотела легально осуществить свои идеи, легально организовать профсоюз, яростно запротестовала, а с другой стороны революционная часть рабочих, которая была противником экономизма и противником легализации профсоюзов, оглушительно приветствовала оратора. Начали кричать так, что ничего нельзя было разобрать. После Скрыпникова еще какой-то оратор вскочил на стол и тоже начал говорить. Наконец один из нашей группы, рабочий, тоже не выдержал и вскочил на стул. У него был очень зычный голос. Когда он произнес слово „товарищи", в зале наступила тишина. Он начал произносить речь на тему, что в условиях самодержавного строя не мыслима легальная организация, что самодержавие расправится с союзом, как только он начнет свою работу, что рабочим и служащим нужно организоваться для того, чтобы вести политическую борьбу, низвергнуть самодержавие и учредить свободный строй. Речь была яркая и страстная. Публика притихла и даже растерялась. Но это было не больше минут трех. Полиция—спохватилась и к оратору направились двое городовых и околодочный для того, чтобы его арестовать. Как только к нему подошли, он выхватил браунинг и выстрелил в околодочного. Что произошло после, трудно описать. Полицмейстер, несмотря на свою толщину перепрыгнул через стол, как скаковая лошадь, и скрылся через задний ход во двор. Публика тоже мгновенно разбежалась. В несколько секунд в зале никого не оказалось. Все боевики также скрылись. Товарища стрелявшего в околодочного увели благополучно, остался только раненый и двое городовых. Тотчас-же оцепили Народный дом, но там уже никого не было. Этот случай, уже тогда



Паро-водяная мельница в с. Борщаговка.
На ней хранились особо опасные принадлежности Бюро. Там же многие скрывались под видом рабочих.



Дом на мельнице в с. Борщаговка.
Служил для хранения оружия, гранат, паспортного бюро и пр. В нем же происходили совещания, конференции.

зародил во мне мысль о том, что, вероятно, скоро придется нам от наших диспутов словесных, от нашей пропагандитской и агитационной деятельности перейти к деятельности более активной, т. е. вооруженной борьбе. Этот период скоро наступил. 9 января 1905 г. был началом нового этапа революционной борьбы, героической борьбы, периода вооруженных восстаний. Но той эпохе предшествовала подготовительная работа различного рода боевых организаций, прежде всего с.-р. и анархистов, и затем с.-д. У нас, в Киеве, в 1905 г. особенно выдающихся событий не произошло, за исключением восстания сапер в октябре м-це. Это крупное событие, о котором еще тов. Ленин писал, указывая, что восстание саперов является прологом грядущих широких народных восстаний, произошло, насколько мне не изменяет память, в такой обстановке. На собрании ответственных работников военной организации было решено устроить массовую демонстрацию. По какому поводу я не помню. Но так как этот год представлял собою целый ряд поводов, то ясное дело, что такой легко было найти. На последнем заседании голоса разделились чуть ли не пополам. Одни из товарищей утверждали, что выступление без оружия безсмысленно. Необходимо запастись оружием, во всяком случае винтовками и патронами. Могут быть верные военные части. Они могут стрелять в выступивших саперов. Другая часть говорила: „нет, товарищи, мы этого не желаем; мы хотим продемонстрировать наше отношение к такому-то факту. Мы без оружия выступим, пройдемся по городу со знаменами, споем марсельезу для того, чтобы начальство знало, какие наши политические убеждения“. Эта точка зрения победила. Решено было, что саперы выступят без оружия. Сторонники же вооруженного выступления говорили, что нужно захватить с собой даже и орудия, т. е. пройтись с пушками. Об этом узнал командный состав, и ночью замки всех орудий были отвинчены. Был целый ряд подготовок к этому выступлению. К часам 9 утра войска двинулись. Двинулись стройными колонами с красными флагами. Впереди шли представители революционных организаций, туда же вмешались женщины и дети, представительницы от работниц и др. Несколько раз этот кортеж останавливался потому, что выехал генерал-губернатор Сухомлинов для переговоров. В пред'явленных требованиях были и политические требования. В то время, как генерал Сухомлинов разговаривал с саперами, туда прибыли небольшие отряды казаков, но никаких мер по отношению к демонстрации не принималось. Демонстрация шла благополучно, пока не дошли до Бибиковского бульвара, до казарм - одного из пехотных полков. Когда проходили через Галицкий базар, то разведчики дали знать, что выстраиваются какие-то войска. Никто этому не поверил. Несмотря на то, что урок 9 января был не так давно, и все его помнили, демонстрация двигалась дальше; хотя разведка все время сообщала, что там готовятся какие-то решительные действия, трудно было остановить такую массу. Но вот раздалась команда офицера: „Готовсь“, и вскоре после этого раздались залпы—один, другой, третий. Тут поднялась отчаянная суматоха. Начали падать убитые и раненые, часть солдат сапер тотчас же прилегла на землю. Некоторые солдаты захватили с собою винтовки под шинели, и они в свою очередь открыли стрельбу. Передовые отряды из рабочих с.-д. которые были к этому подготовлены (на всякий случай,) тоже открыли стрельбу и дали тем временем разбежаться остальным товарищам, которые были без оружия. Это второй случай в моей памяти, в ко-

тором с-д. организации пришлось с оружием в руках выступить на арену революц. борьбы. Потом конечно, были аресты. По этому делу судился один из саперных офицеров т. Жадановский. Он был убит в сражении с немцами в 1918 г. под Алуштой. Демонстрация саперов еще больше нас убедила в том, что выступление на улицу без оружия очень нецелесообразно и лишь вызывает массу жертв, не причиняя врагу ощутительных потерь. А из этого уже вытекало, что мы должны заняться вооружением рабочих для того, чтобы на случай выступления быть готовыми. К этому времени уже и орган Центрального Комитета партии отозвался на происходящие события. Уже встал вопрос о непосредственной подготовленности к вооруженному восстанию, нужно было изучить, серьезно готовиться к этому делу. За-границей была издана брошюрка, которая трактовала об уличных боях, о баррикадах, как отступать, как задерживать войска, как подводить мины и т. д. На эту литературу молодые рабочие-боевики набросились с жадностью. Начали организовывать боевые пятерки-десятки, начали готовиться к восстанию. Надо доставать оружие, а чтобы достать его надо было это дело как-то организовать. Часть товарищей, в том числе и я, образовали специальную группу при Областном Комитете партии, которую мы назвали „Южное Военно-Техническое Бюро". Эта группа занялась специально организацией боевых дружин, снабжением их огнестрельным оружием. Нужно сказать, что уже до этого часть товарищей начала кустарным способом организовывать лабораторию взрывчатых снарядов. Что касается револьверов, то, благодаря связям с за-границей снабжение револьверами было достаточно хорошо налажено. Были револьверы различных систем—„Кольты, Наганы, Браунинги, Маузеры". Оставалось только заняться снабжением наших дружин ручными гранатами. Первая наша конспиративная квартира была в доме Ф. Л. Климовой, на Паньковской улице, в особняке. В этом особняке мы и основались. Там был наш склад оружия, там происходили наши совещания; там разрабатывались наши планы. После того, как мы наладили связь с нашими боевыми дружинами на заводах и предприятиях, снабдили их револьверами и патронами, мы решили их снабжать ручными гранатами. Мы решили сами делать гранаты, нашли соответствующее для этого вещество: „нитролит". Это динамит в виде студня, очень большой силы. Для изготовления ручных гранат мы устроили в той же квартире на Паньковской улице, в Киеве, небольшую лабораторию, в которой мы довольно успешно работали, но скоро надо было наше производстводство прекратить и самим уйти, т. к. была установлена слежка за квартирой. Квартиру мы вскоре очистили, причем на квартире у нас произошел небольшой взрыв. Один товарищ нечаянно взорвал шашку пироксилина, правда, это было не так страшно, был маленький пожар, товарищ обжегся, но все-таки это было предостережением для нас. Нужно было скорее удирать. Мы решили перевести нашу организацию в Ростов. Для этого нам нужны были прежде всего денежные средства. Обратились в Областной Комитет. Денег не оказалось. Тогда одни из наших товарищей по собственной инициативе решили устроить экспроприацию. Семь человек вооруженных дружинников окружили Демиевскую почту и забрали там 7.000 рублей. Очень характерно для этих товарищей, что они не смущались тем, что вступили на путь экспроприаций, несмотря на то, что они были с-д. Деньги были получены. Мы передали их в Областной Комитет, затем вскоре приехали в Ростов и

там тоже организовали лабораторию взрывчатых снарядов и склад оружия. В это время восстание Ростовское уже было подавлено, и боевые дружины в большинстве своем были распущены, но мы считали, что дело еще не проиграно, что вооруженное восстание может быть еще раз об'явлено и можно еще его выиграть, и потому необходимо к нему готовиться боевой работой. Правда, в нашей среде были товарищи, которые говорили, что сейчас массовым террором нужно покончить, что нужно снова итти в нашу основную работу, нужно опять взяться за агитацию и пропаганду. Но большинство держалось другой точки зрения. В ростове наша работа продолжалась недолго. Мы приехали туда в январе, в 1906 году. Проработали февраль, март и апрель не весь, 26-го апреля мы провалились. В квартире, где у нас была лаборатория жили, кроме меня, еще 2 товарища. Мы занимали маленький домик на Никольском переулке № 55, довольно удобное помещение для нашей работы. В 5 часов утра раздается стук, я смотрю в окно; вижу, что мы окружены. Дело, значит, плохо; если „засыпаться" с оружием да с бомбами, так или иначе будет петля. Надо было спасаться. Мы решили оказать вооруженное сопротивление. Либо мы будем убиты, либо уйдем. Пока товарищи одевались я задержал полицию разговором, а затем сделал первый выстрел. Вслед за мной товарищи открыли стрельбу, бросили несколько ручных гранат, от разрыва которых посыпались стекла соседних домов, и полиция удрала. Ранило только одного, или двух. Тем временем мы себе очистили путь и благополучно скрылись. Три товарища, живущие на других квартирах были арестованы в это же утро, кроме того, были взяты по этому же делу товарищи в Таганроге. Я уехал в Новочеркасск и там узнал о судьбе арестованных товарищей, оказалось, что они сидят в Ростовской тюрьме. С тюрьмой связь была довольно хорошая. Там сидело до 30 человек по делу Ростовского восстания. Мы начали думать о том, как бы устроить им побег. В то время самым модным способом устройства побега была вязка надзирателей. Это дело организовали довольно быстро и удачно, так что в июле месяце все надзиратели в одно прекрасное утро было перевязаны, и тюремные ворота были открыты. Наши товарищи благополучно ушли; был подготовлен лихач, они уселись, только их и видели. Через 10—15 минут явились жандармы, тюрьму закрыли и начали собирать бежавших. Кроме наших товарищей бежали еще и уголовные, при чем некоторые уголовные не успели даже снять кандалов. Два перса в кандалах пустились бежать и попали в погребок. Там они пили до вечера, и в пьяном виде их опять забрали в тюрьму. Вообще из всех бежавших скрылись только наши товарищи. Это был наш последний „террористический акт".

На нашу деятельность, эпизоды из которой я только что разсказал, мы смотрели исключительно как на подготовку к массовому вооруженному восстанию.

Еще интересный факт. Наша лаборатория была настолько хорошо оборудована, что мы получали заказы от с-р. и анархистов. Они заказали бомбу для Сухомлинова, она должна была разрушить не только карету, в которой ехал Сухомлинов, но и мостовую в радиусе на 3—4 аршина. Эту бомбу мы сделали, но с-р. не удалось ее использовать, и бомбу пустили в Днепр, как расказывали мне потом товарищи в тюрьме. Что касается дальнейшей нашей революционной деятельности, то после того, как мы провалились и после того, как мы вывели товарищей из тюрьмы, время настолько изме-

нилось, революционная волна настолько спала, сама перспектива революции так резко стала против нашей боевой деятельности, что нам дальше продолжать нашу работу нельзя было. Даже слепому было ясно, что вооруженного восстания скоро не будет, что вооружать рабочих в настоящее время никакого смысла нет, что это будет материалом для провокаторов, и что нужно поскорее это дело ликвидировать. Наша организация постановлением Областного Комитета была ликвидирована, и боевая „террористическая“ деятельность ее была закончена.

В. Усенко.





Киевский „Шлиссельбург“.

Во всех трех изданиях моей книги „В неволе“ (Москва, 1918, 1919 и 1923 г.г.) я посвятил много места описанию, в общем, малоизвестной до тех пор киевской военно-политической тюрьмы „Косой Капонир“ и тем порядкам, которые существовали в ней при знаменитом киевском коменданте генерале Медере. К тому времени, когда я попал в эту тюрьму (начало 1908 г.).

„Косой Капонир“, представлял из себя старый форт киевской крепости (оффициально: „крепость—склад III разряда“), превращенный в военную гауптвахту. В административном отношении гауптвахта была непосредственно подчинена штабу киевской крепости. Там разрабатывались хитроумные инструкции о порядке содержания арестованных, там просматривались наши письма, там разрешались (или—запрещались!) свидания с нами и т. д. **постоянного** начальства, которое непосредственно приглядывало-бы за арестованными, в „Косом Капонире“, не было. Один из ад'ютантов коменданта Медера числился „заведующим арестованными“,—он и отдавал приказания нашей страже, но выполняли эти распоряжения каждодневно-сменявшиеся „начальники караула“, приходившие с своей ротой в целях охраны „Косого Капонира“ и предотвращения наших побегов. И побегов за время моего сидения, действительно, не было. Главный контингент содержавшихся в „Косом Капонире“, составляли **военные арестанты** (солдаты и офицеры),—и только в виде исключения, комендант Медер обязан был принимать шесть (никак не больше) „арестантов гражданского ведомства“. В числе этих шести я и попал к нему.

Но „Косой Капонир“ служил не только местом заключения. Там производились и казни. Между „Косым Капониром“ и другим фортом киевской крепости—знаменитой „Лысой Горой“—существовало честное разделение труда: на „Лысой Горе“ вешали, в „Косом Капонире“—расстреливали.

Из гражданских арестантов в лапы к Медеру могли попасть только наиболее „важные“,—т. е., осужденные к смертной казни через расстреляние или „склонные к побегу“, содержание которых в Лукьяновской тюрьме киевская губернская тюремная инспекция считала делом рискованным. Ко всем гражданским арестантам—независимо от того, какое наказание им угрожало по суду—генерал Медер применял режим осужденных к смерти.

Весной с. г. мне удалось, благодаря любезному содействию „Киевского о-ва политкаторжан“, посетить—после долгого перерыва—„Косой Капонир“ и произвести кое-какие снимки в этом кошмарном

застенке. Начать с того, что комендант г. Киева, выдавший мне и т. Цукрову пропуск для посещения крепости, заявил, что он никогда сам не бывал в этом застенке. Он порекомендовал нам, в случае какого-либо недоразумения, обратиться в Киевский военный госпиталь, находившийся неподалеку от „Косого Капонира“. Как мне удалось выяснить, мало кто в Киеве знает о том, что сохранились еще какие-либо развалины знаменитого „Медерова чуланчика“.

Когда мы под'ехали к тому месту, где стоит теперь в разрушенном виде „Косой Капонир“,—я не сразу смог ориентироваться. Дело в том, что высокий забор из серых палей, придававший „Косому Капониру“ мрачно-внушительный вид, разобран был еще 2 года тому назад на топливо администрацией военного госпиталя. Поэтому, внешность „Косого Капонира“ сильно изменилась. Пали разделяли внутри форт на 2 части,—и образовали, вместе с 2 земляными валами, четырехугольный дворик, в котором мы гуляли. Теперь, после снятия всех заграждений, уже не осталось никакого дворика. Не осталось и входной калитки. Таким образом в каверну, ведущую в прежнюю тюрьму „Косого Капонира“, мы вошли уже, не минуя никаких заграждений. Нынешний вход в „Косой Капонир“ изображен на рисунке № 1. Каверна (углубление), ведущая к камерам, имеет протяжение шагов в 40. Конец каверны (до входа в караульное помещение) изображен на рисунке № 2.

Эта каверна служила местом свидания (вернее, прощания) с родными для осужденных к смертной казни накануне ее исполнения. Осужденного помещали внизу, в конце каверны,—родные-же помещались во дворе у входа в нее,—и люди обменивались последними приветствиями на расстоянии 40 шагов,—причем слова их едва долетали из одного конца каверны в другой. Так было, между прочим, обставлено последнее свидание казненного в 1908 г. максималиста С. Рысса (Мортимер).

Вошли в караульное помещение,—и тут-же охватило давнишнее, привычное впечатление какого-то склепа для заживо-погребенных. Разглядеть сразу ничего нельзя. Глаза еще не отвыкли от дневного света, там, наверху... Воздух теперь не так тяжел, как раньше. Окно в потолке караульного помещения сломано, стекла выбиты,—и воздух свежей струей проникает сюда с воли. Когда мы сидели здесь, солдаты—особенно, молодые рекруты—часто впадали в обморочное состояние вследствие полного отсутствия вентиляции и крайней затхлости воздуха. Иной раз простоит новобранец на посту во внутреннем помещении, примыкающем к караульному, 15—20 минут,—и грохнется на-земь. Бывали случаи, когда офицеры, подобрее, позволяли нам помогать упавшим в обморок. У нас бывали иногда лимоны,—и мы поили их горячим чаем с лимоном.

Внутреннее помещение тюрьмы, в котором имелось 4 камеры, изображено на рисунке № 3. Дверь соединяет его с караульным помещением. За этим помещением находилось: два карцера для „провинившихся“, каждый величиной с большой ящик (они сохранились до сих пор во всей красе) и „общая камера“ № 1,—снять которую нам не удалось, так как она превращена в какую-то кладовую военного госпиталя.

За камерами для арестованных нижних чинов находится полусветлый корридор с довольно-уютными камерами-комнатами, в которых сидели арестованные офицеры до суда и, следовательно, до лишения их офицерского звания. В этом „офицерском“ корридоре сей-

час поселились кое-какие служителя военного госпиталя или их родственники.

В наибольшее запущение пришло караульное помещение. Комнаты, где помещался караульный начальник, превращена (нет-ли тут злонамеренной тенденции?) в... хлев.

Сохранилась знаменитая „комната для свиданий“, превращенная при Медере в камеру смертников. (Она изображена на рисунке № 4). В этой камере осужденные к смертной казни проводили только последние несколько часов, сюда приходил к ним священник и тех, кто его соглашался принять, напутствовал в дальнейший путь, откуда нет возврата. И только—наша компания, состоявшая из 3 политических (я, Дубинский, Бейлин) и 3 уголовных, осужденных к повешению,—были задержаны в этой камере свыше 5½ месяцев. (Позднее, нас перевели в другие камеры „Косого Капонира“). На рисунке № 4 изображена только передняя часть камеры. Угол, в котором я стою, служил для курения и прочих нелегальных деяний (тут мы прятали все запрещенное). Часовому, стоявшему у двери, угол не был виден. Часто стража требовала, чтобы мы оттуда выходили, угрожая в противном случае стрелять. Выстрелы этого часового тоже, конечно, не могли достигнуть нас, но мог стрелять в нас другой часовой, охранявший камеру со стороны окна. Однажды в этой камере произошел следующий случай незадолго до нашего перевода в „Косой Капонир“. Матрос Леонович и еще несколько смертников решили не итти на казнь. Перед приходом палачей они, сняв кандалы с ног и вооружившись ими, забились в этот угол и решили сопротивляться палачам, которые прийдут за ними. Никакие уговоры часового, стоявшего у двери, на них не подействовали. Тогда был отдан приказ часовому, стоявшему у окна, стрелять в них. Таковы уж свойства человеческой психики: Леоновичу и др. оставалось жить еще полчаса всего,—но они после первого же залпа сдались. Их казнили. Пули часового попали в дверь, пробили 2 филенки, которые при нас заменили новой. На снимке они выделяются...

В этой же камере в 1911 г. судили убийцу Столыпина—Дмитрия Багрова. Здесь-же он просидел дней 10 до казни...

Когда я сидел в „Косом Капонире“, кое-кто из солдат и сторожей рассказывал мне о том, что в 50—60 шагах от палей, окружавших крепостной дворик, производились расстрелы. В частности, мне указали, в каком направлении находятся могилы расстреленных за восстание 1905—7 г.г. солдат-сапер и селенгинцев. Из-за палей этого места увидеть нельзя было, но на одном из столбов я записал фамилии некоторых расстреленных. Мельком я подумал тогда, что, м. б., придет время, когда можно будет отыскать их могилы. В песенке, которую я сочинил для солдат, приходивших караулить нас и за которую Медер посадил меня на 30 суток в карцер, я предсказал, что будет время, когда освобожденный народ прийдет поклониться,—и „девы“ украсят могилы их пышными цветами. Революция, к счастью, пришла, но жизнь в революционную эпоху оказалась куда прозаичнее, чем грезилась мне там, за серыми палями. „Девы“ работают в наркомпросах, роются даже в музеях революции, а могилы расстреленных в „Косом Капонире“ героев оказались совершенно—забытыми.

Своего столба я, само собой разумеется, не нашел,—но при помощи живущих в „офицерском“ корридоре, я могилы сапер и селен-

гинцев нашел. Нашел и могилы расстреленных одиночек-политических. Одна из братских могил расстреленных солдат обозначена крестиком на снимке № 5. Одиночные могилы вышли на снимке № 6 плохо-заметными, в виде 6 бугорков. Под одним из них лежит расстреленный в 1906 г. Сухомлиновым—анархист Николай Якобсон, по рассказам сторожей, поразивший своим мужеством расстреливавших его солдат.

Могилы киевских героев революции—в полном забросе. Местами земля распахана под огороды... Я знаю, что жизнь всюду буйно пробивает себе дорогу, не считаясь ни с какими „сантиментами“, но все же я верю, что правление Киевского О-ва политкаторжан приложит все усилия, чтобы выполнить данное обещание:

„Сохранить те из могил мучеников революции, которые уцелели до сих пор среди гроз и бурь революции.“

Москва, 18/VI—1924 г.

Г. Сандомирский.

К статье Г. Сандомирского.

„Киевский Шлиссельбург“



Рис. 1.

К. статье Г. Сандомирского

„Киевский Шлиссельбург“

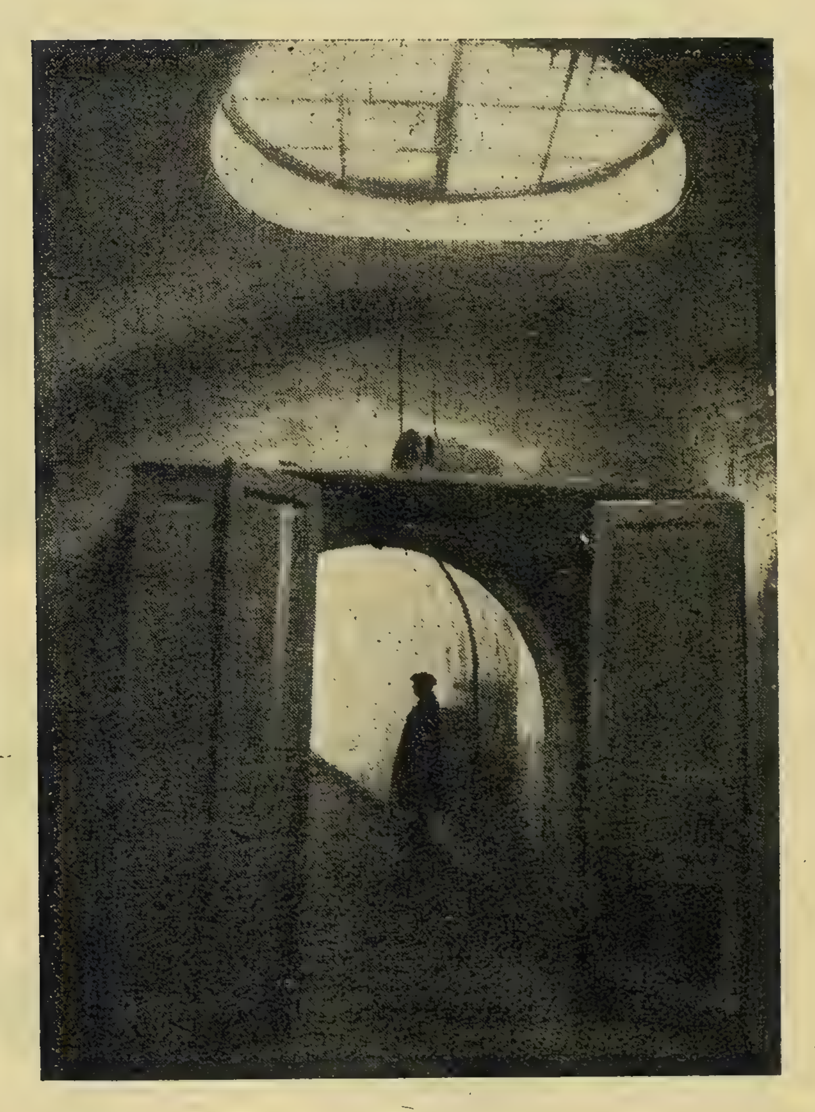


Рис. 2.

К статье Г. Сандомирского.

„Киевский Шлиссельбург“

Рис. 3.



Рис. 4.

„Киевский Шлиссельбург"

Рис. 5.

Рис. 6.

Воспоминание о неудавшемся побеге политических из Киевской Лукьяновской тюрьмы в 1878 г.

В Киевской Лукьяновской тюрьме среди уголовных арестантов упорно держался слух, что в тюрьме имеется начатый некогда осужденными на каторгу уголовными подкоп, неоконченный ими потому, что ту партию отправили на каторгу ранее, чем предполагалось. Слух этот был известен и политическим, содержавшимся в Лукьяновке в 1878 г. Тогда сидели в тюрьме Стефанович, Дейч и Бохановский, как организаторы Чигиринского дела; Малавский, Шеффер, Чернояров, Круковская и Калинина, как укрыватели следов их „преступления"; Колоткевич, Кибальчич, Богданович, Савенко, Беверлей, Избицкий I, Избицкий II по разным другим политическим делам.

Стефановичу, Дейчу и Бохановскому необходимо нужно было бежать, потому что им грозила смертная казнь. Поэтому слух о подкопе сильно интересовал политических. Нашелся один среди уголовных, который сообщил политическим, что подкоп велся из подвального этажа, или вернее подвального корридора, устроенного под тюрьмой.

Ход в подвальный корридор был устроен с тюремного двора, на котором уголовные арестанты обыкновенно проводили днем почти все время от утренней до вечерней поверки; дверь туда всегда была заперта на замок, и ключ от этого замка хранился в тюремной конторе. Каторжане, начавшие подкоп, имели такой же ключ у себя и, пользуясь в тюремной ограде относительной свободой, т. е. имея возможность почти весь день быть на тюремном дворе, отпирали этот замок, пускали в подвальный корридор двух или трех человек, запирали их там и, таким образом, вели работу. Политических выпускали на прогулку только по одному человеку и не более, как на полчаса под наблюдением часового. Следовательно, при таких условиях не могло быть и речи о продолжении упомянутой работы самими политическими. Поэтому побег Стефановича, Дейча, и Бохановского был произведен иным способом, подробно описанным в книге Степняка „Подпольная Россия".

До побега Стефановича, Дейча, Бохановского политические, сидевшие в Лукьяновской тюрьме, пользовались значительными льготами: сидели они хотя в одиночных камерах, но по два человека вместе, при чем утром во время поверки их камеры отпирали и оставляли отпертыми до вечерней поверки: таким образом, политические проводили весь день вместе или в корридоре, или собирались группами по отдельным камерам. В этот же корридор днем приходили политические, сидевшие в камерах другого корридора, находившегося на противоположной стороне тюрьмы. После побега Стефано-

вича, Дейча и Бохановского, оставшихся рассадили по отделным камерам и днем и ночью держали их под замком. Но потом, спустя некоторое время, опять на день стали отпирать камеры и предоставили снова возможность днем проводить время вместе; на ночь запирали в камерах по одному.

Летом 1878 г. политических из одиночных камер второго этажа, где они сидели обыкновенно, перевели в одиночные камеры третьяго этажа (верхнего), а во втором приступили к ремонту. В этой части корридора третьяго этажа, где находились одиночные камеры, была лестница, ведущая на чердак. Дверь от чердака постоянно была заперта и, повидимому, туда никто не ходил. Под влиянием так благоприятно сложившихся обстоятельств, политические вспомнили о начатом когда-то подкопе, и у них явилось желание заняться обследованием, где и как был начат и как велся подкоп? Для этой цели по данному из тюрьмы слепку на воле был сделан ключ к замку чердачной двери; политические при помощи этого ключа проникли на чердак и, работая там осторожно, проделали отверстие в вентиляционную трубу; внутри трубы по канату, сделанному из собственных простынь (казенных не полагалось) спустились в подвальный корридор и нашли там начатый подкоп.

Решено было этот подкоп продолжать и, когда он будет готов, воспользоваться им для побега—Избицкого и Беверлея, ожидавших для себя более строгого приговора, чем остальные. Остальные расчитывали на то, что они будут судом или оправданы, или приговорены сравнительно к небольшому наказанию, так как следствием против них были добыты только слабые улики.

За тюремной оградой, на некотором от нее расстояни, была сложена копна соломы. Эта копна соломы определила то направление, в котором должен вестись подкоп. Я взял на себя вычисление длины подкопа и величины угла, под каким должен вестись подкоп, чтобы выйти под копну соломы. Для измерения и расчетов служил складной аршин, доставленный с воли, и тень, падавшая от тюремной ограды в солнечные дни.

Работа шла успешно; в ней иногда принимал участие тот уголовный, который сообщил политическим, что подкоп велся уголовными каторжанами из подвального этажа. В некоторые дни он проникал незаметно для стражи на корридор политических и вместе с очередными спускался по канату в подвальный этаж для работы. Однажды, по окончании дневной работы, политические по канату выбрались на чердак и ждали там своего уголовного товарища по работе. Когда этот последний поднялся сравнительно на незначительную высоту, канат оборвался, уголовный упал и ушибся настолько сильно, что уже не мог подняться по канату, хотя его надвязали. Между тем нужно было во что бы то ни стало ко времени вечерней поверки выручить из подвала оставшегося там человека. Пришлось воспользоваться тем ходом в подвальный этаж со двора, которым пользовались каторжане, начавшие этот подкоп. Политические сами, по причинам изложенным выше, не могли этого сделать и вынуждены были обратиться за помощью еще к одному уголовному каторжанину, который при случае оказывал политическим услуги. К счастью, ключ, которым пользовались для хода на чердак, оказался годным и к тому замку, каким запиралась дверь в подвальный этаж. Каторжанин проник туда и, вернувшись обратно, сообщил, что упавший ушибся так сильно, что выйти оттуда даже при его помощи не мо-

жет, что нужно пригласить еще человек двух, которые помогли бы ему вывести из подвала упавшего. Выбор подходящих для этого людей был сделан самим уголовным каторжанином, и только таким образом упавший человек был извлечен из подвала. После этого случая дальнейшая работа производилась одними политическими без участия уголовных, и подкоп, наконец, был выведен под солому, находившуюся за тюремной оградой.

Когда подкоп был закончен, для побега двух политических, Избицкого и Беверлея, оставалось устроить только сообщение между двумя соседними камерами, проделав отверстия внутрь печи, имевшейся между ними, а дверцы печные, выходящие в корридор, нужно было оставить на ночь не запертыми и подготовленными к тому, чтобы их можно было вынуть без особых затруднений. Кроме того, нужно было дежурного корридорного усыпить, чтобы он не помешал бегущим вылезть из печи в корридор, а из корридора пробраться на чердак. Для этого можно было воспользоваться установившимся с разрешения начальства обычаем пить по вечерам чай. Проделывалось это следующим образом: дежурный корридорный ставил в корридоре самовар; когда он поспевал, корридорный наливал кипяток в чайник с очень длинным носиком и наливал чайник политических через круглые отверстия, проделанные в дверях для наблюдения за заключенными. В этом чаепитии принимал участие и сам дежурный, ему передавался через то же отверстие в дверях чай и сахар, и он пил чай в корридоре. В ночь побега предположено было к чаю для дежурного прибавить соответствующее количество морфия. Когда он уснет, Беверлей и Избицкий выйдут через отверстие для печных дверец в корридор и оттуда на чердак и дальше тем путем, каким ходили на работу. Все это можно было устроить сравнительно легко.

Дело однако затормазилось благодаря уголовным каторжанам, которые помогали вывести из подвального корридора упавшего туда человека. Они, конечно поняли, что работа по подкопу ведется, и выразили желание воспользоваться этим подкопом и бежать вместе с политическими, для чего необходимо побег политических отложить дня на три или на четыре, пока уголовные подготовят для себя возможность выйти ночью из своей камеры и попасть в подвальный корридор. Благодаря этой отсрочке побега, произошло событие, усложнившее план побега и заставившее еще на несколько дней отложить его. Дело в том, что ремонт второго этажа закончился, и политических перевели опять во второй этаж, а в третьем приступили к ремонту. Это обстоятельство неприятно подействовало на политических. Казалось, что все труды пропали даром: случайный заход на чердак кого-нибудь за тюремных служащих во время ремонта третьего этажа может обнаружить в вентиляционной трубе канат из простынь; это раскроет весь замысел политических, и тогда, конечно, побег ни в коем случае не состоится. Тем не менее надо было подумать, нельзя ли что-либо предпринять, чтобы работа, стоившая стольких трудов, не пропала даром. Таким образом перед политическими ставилась новая задача—как проникнуть из второго этажа в третий, откуда был ход на чердак.

Вскоре выяснилось, что корридор ремонтируемого третьего этажа на ночь запирается на замок и остается на всю ночь без какой бы то ни было охраны. Тогда решено было произвести следующие дополнительные работы: пробить отверстие из камеры второго этажа

в перекрытии между 2 и 3 этажами (в потолке) над печью второго этажа, которая не доходила до потолка так, чтобы можно было проникнуть в печь третьего этажа. Когда это будет сделано, тогда останется пробить отверстие в стенках печи, находящейся между двумя камерами, и таким способом дать возможность из одной камеры перелезть в другую, именно в ту, из которой пробито будет отверстие через потолок в печь третьего этажа.

Уголовные каторжане с своей стороны тоже пробовали что-то сделать у себя, что дало бы им возможность выбраться из своей камеры и проникнуть в подвал, но убедились в том, что воспользоваться подкопом им нельзя, и что все их попытки в этом направлении привели-бы лишь к тому, что почти все обитатели каторжной камеры стали догадываться, что часть их товарищей собирается бежать. Тогда собиравшиеся бежать сказали политическим, что уголовные отказываются от побега.

Тогда политические, пользуясь стуком и шумом, производимыми рабочими во время ремонта третьего этажа, в один день пробили отверстие над печью второго этажа в печь третьего и в стенках печи, находившейся между двумя камерами. В этот же день проникли в ремонтировавшийся третий этаж, и оставили там соответствующую печную дверцу не запертой и подготовленной к тому, чтобы ее легко можно было вынуть. Подготовленные днем отверстия искусно были замаскированы, чтобы во время вечерней поверки их не заметили.

Благодаря тому, что отверстие, ведущее из второго этажа в третий, было проделано из камеры, не нужно было дежурного коридорного поить чаем с морфием потому, что Беверлей и Избицкий прямо из своих камер через печь попадали в совершенно пустой корридор третьего этажа.

Ночь, когда должен быть совершиться побег, была очень темная, и политические сильно верили в успех этого побега. Беверлей перебрался через пробитые стенки печи в камеру к Избицкому, и они около 12 час. ночи проникли через печь в корридор третьего этажа. Все политические с напряженным вниманием прислушивались к ночным тюремным звукам и мысленно шаг за шагом провожали бегущих по хорошо известному пути. Вот Беверлей и Избицкий осторожно пробираются по чердаку к вентиляционной трубе, вот они спускаются по канату в подвальный этаж. Подвальным корридором они проходят на другую сторону тюрьмы, откуда начинался подкоп, ведущий под копну соломы, находившуюся за пределами тюремной ограды. Все думали, что около часу и самое позднее около двух часов ночи они будут уже под соломой и, выбравшись осторожно из под нее, тихонько поползут к ровчаку, около которого их должны были ожидать.

Тишина полная; проходит час, два, три—тишина ничем не нарушается. Напряженное состояние, долго длящееся, страшно утомляет, начинает казаться, что и этот побег, как и побег Стефановича, Дейча и Бохановского, совершился благополучно. Повидимому, все политические, утомленные четырехчасовым напряженным ожиданием, крепко заснули, никто из них не слышал тревоги и стрельбы. Зато пробуждение после этого сна было ужасное. Когда тюрьма проснулась, и уголовные были выпущены из камер во двор, вскоре один из них прибежал в корридор к политическим и сообщил, что Беверлей убит, а Избицкий пойман и сошел с ума, что он сейчас находится в помещении, предназначенном для внешней тюремной охраны,

но что он уже не будет сидеть в Лукьяновской тюрьме, а будет переведен на Печерск, в крепость. Эта весть поразила политических, как гром с безоблачного неба.

Мысль, что помешательство Избицкого несомненно явилось, как результат пережитого им потрясения: он был пойман уже за пределали тюремной ограды, в поле, там же его товарищ на его глазах был убит наповал выстрелом солдата. Такого рода помешательство может пройти, если Избицкого поместить в прежнюю обстановку, т. е. оставить его в кругу его товарищей, относящихся к нему с большим вниманием и заботящихся о нем с товарищеской любовью; наоборот, если его перевести одного в крепость и создать там для него, как помешанного, тяжелый режим, то он, конечно, не выдержит: или сойдет с ума окончательно или покончит с собой. Эта мысль об'единила всех политических, и они решили или погибнуть всем или добиться того, чтобы начальство отменило свое намерение—перевести Избицкого в крепость и оставило бы его с ними, разрешив кому—нибудь из политических поместиться с Избицким в одной камере, как с больным.

В этот день утром камеры политических не были отперты, и им об'явили, что они уже не будут пользоваться совместным пребыванием в корридоре от утренней до вечерней поверки, как это было до сих пор. Все это вместе взятое послужило поводом к тюремному бунту. Все политические начали выбивать двери своих камер, пользуясь для этого досками от кроватей. Когда несколько дверей было выбито, тюремное начальство из опасения, что на ночь некуда будет запереть политических, так как все двери в одиночных камерах могут быть разбиты, решило до выяснения вопроса с Киевской прокуратурой и администрацией, выпустить политических в корридор. Когда камеры были отперты, и все политические вышли в корридор (политических в то время было, насколько я помню, десять человек мужчин, женщины находились на женском дворе и присоединиться к мужчинам не могли), они немедленно направились все вместе в тюремную контору, которая помещалась в здании, находившемся в пределах тюремной ограды. Растерявшиеся тюремные служащие вышли вон из конторы, уступив место политическим. Политические же, завладев помещением тюремной конторы, в чрезвычайно приподнятом нервном состоянии пред'явили тюремному начальству ультиматум такого содержания: политические требуют, чтобы Избицкий был оставлен в Лукьяновской тюрьме, и чтобы с ним, как с больным, было разрешено одному из его товарищей сидеть в одной камере, и чтобы его сейчас же перевели из помещения, предназначенного для внешней тюремной охраны, в контору, к политическим; как только это будет сделано, все политические вместе с Избицким оставят контору, перейдут в здание тюрьмы и займут предназначенные им помещения. В противном случае, т. е. при отказе оставить с ними Избицкого в Лукьяновской тюрьме и при малейшей попытке со стороны начальства завладеть конторой и расправиться с ними, не отдав им Избицкого, они обливают керосином, имеющимся в лампах и жестянке, все тюремные дела и поджигают контору, в которой они предпочитают лучше сгореть, чем отказаться от защиты своего больного товарища. Настроение до такой степени было приподнято, что не было ни малейшего сомнения в том, что угроза будет приведена в исполнение. Видя такое настроение, тюремное начальство не решилось предпринять что-либо собственною властью, а

вызвало из города представителя жандармского управления, губернатора и прокурора, которые сначала пытались убедить политических отказаться от пред'явленного им требования, но когда убедились сами в том, что угроза несомненно будет приведена в исполнение, привели Избицкого и передали его политическим, которые вместе с ним сейчас же отправились в свой корридор и разместились по уцелевшим камерам, при чем с Избицким поместился один из его товарищей по заключению.

Через несколько дней в состоянии умственных способностей Избицкого началось заметное улучшение, в конце концов восстановилось вполне нормальное состояние. Тогда только политические узнали от него, почему так неудачно закончился долго подготовлявшийся побег.

Когда Избицкий и Баверлей были уже под соломой, они услышали около тюрьмы говор многих голосов и стали прислушиваться к ним. Из слышанного ими они вывели заключение, что тюремное начальство было осведомлено о том, что готовится из тюрьмы побег уголовных каторжан посредством подкопа. В виду ожидавшегося побега, уже вторую ночь тюрьма на ночь была окружена чуть ли не целой ротой солдат, которые должны были зорко наблюдать, не выскочат ли где-нибудь из-под земли арестанты.

Это обстоятельство смутило Избицкого и Беверлея, и они стали колебаться, бежать им или вернуться назад в свои камеры. Вернуться назад—это значило отказаться от использования произведенной весьма сложной работы, так блестяще доведенной до конца. Отсрочить использование этой работы на некоторое время не было никакой возможности: произведенное разрушение в камерах и в печи третьяго этажа никоим образом скрыть уже было нельзя. Благодаря этим размышлениям они упустили более удобное время, значительную темноту ночи, и пустились бежать уже перед самым рассветом. Конечно, они были замечены солдатами, и по ним была открыта стрельба: Беверлей был убит, а Избицкий[1]) был пойман. Так трагически закончился долго подготовлявшийся побег исключительно благодаря тому, что падение одного из работавших вынудило прибегнуть к помощи уголовных каторжан.

1924 г. *В. Чернояров.*

---

[1]) Оба брата Избицких за расклейку прокламаций и вооруженное сопротивление при аресте судились в Киеве в 1879 г. Избицкий Владислав осужден в каторжные работы, а брат его на поселение. Ред.

Арест и побег.

Летом 1907 года я жил в Тамбове, где лечился от полученных мною в конце апреля того же года поранений при экспроприации почтово-телеграфной конторы в Рязанской губ.

В Тамбове же, на Дубовой ул. жил т. Зуев. Квартира его (расположенная в саду), в которой хранилась нелегальщина, оказалась под сильным наблюдением агентов охранки. Необходимо было принять меры для очистки квартиры. Я отправился к Зуеву, чтобы перевести все от него на другую квартиру.

Не успели мы с т. Зуевым обсудить план наших действий, как в сад ворвались агенты охранки с представителями власти и под надежной защитой казаков, полицейских и солдат, вошли в квартиру, скомандовали нам: „Руки вверх!“ и начали обыск. У меня в кармане были обнаружены пули к „Браунингу“, а у т. Зуева за поясом „Наган“. Оказалось, что мы заранее не успели сговориться, и вот к приготовленным мною пулям для браунинга, т. Зуев достал наган без пуль.

Что у т. Зуева была нелегальщина, я знал, но какая, мне не было известно. Поэтому я был не мало удивлен, когда открыли корзину и стали извлекать оттуда нелегальную литературу—рукописи, печати, гектограф и др.

По окончании обыска мы были отправлены в тюрьму.

В тюрьме нас поместили в дежурную надзирательскую комнату На другой день явился жандармский ротмистр с военным врачем, силою раздели нас до-нага и осмотрели наши приметы. При осмотре у меня обнаружили огнестрельные шрамы. На вопросы мы отвечать отказались. Я был зачислен под именем Власова. После этой процедуры старший надзиратель Николаев привел кузнеца, притащили кандалы и наковальню и предложили мне сесть для заковывания. Я отказался. Доложили дежурному пом. нач тюрьмы. Последний довольно грубо потребовал от меня подчиниться их требованию. Я отказался и заявил:

— Я Эс-Эр, требованиям вашим не подчиняюсь. Заковать меня можете только лишь силой..

Через полчаса явился начальник со всей своей „отважной ратью“ и меня заковали силой. Политические заключенные об‘явили протест и потребовали нашего перевода из надзирательской комнаты в камеру. Требование было удовлетворено, и нас перевели в секретную камеру. С одной стороны нашей камеры расположены карцера, а с другой — камера, в которой содержались т. Романов, ранивший при аресте двух городовых и т. под кличкою „Доктор“, за покушение на жизнь ст. надзирателя губ. тюрьмы. На второй или третий день из-за нашей прогулки сократили прогулку общим политическим каме-

рам. Политические запротестовали. Солдатские штыки и надзирательские наганы с взведенными курками были направлены на сопротивляющихся политических, и достаточно было незначительного толчка с той или другой стороны, чтобы двор тюрьмы покрылся кровью и трупами полит. заключенных. После бурных об'яснений с начальником тюрьмы, часть требований наших была удовлетворена: прогулка общих камер не была сокращена, и по старому допускалось ходить из камеры в камеру до поверки. Тов. Зуева перевели от меня в общую камеру, а ко мне посадили т. Белозерского, студента Московского университета, прибывшего из Козловской тюрьмы и привлекавшегося за принадлежнось к партии Эс-Эров по 2-й части 102 ст.

Тов. Белозерский обладал приличными знаниями классической литературы, полит. экономии и истории; энергичный, общительный и привлекательный,—он невольно располагал к себе товарищей.

19 сентября я был направлен в Пронск Рязанской губ. Для предупреждения побега меня, незадолго до того раскованного, снова заковали.

Коллектив политических передал мне два пятирублевых золотых и серебряный рубль, а т. Зуев отдал мне свои карманные часы. Я всю ночь не мог уснуть. В моих мыслях проносились целою вереницею планы побега, и все они разбивались о небольшую пилку, каковой я не успел запастись.

Этап.

На ст. Хрущово меня отвели в пересыльную тюрьму, расположенную в 15-ти саженях от станции, откуда на следующий день мне предстояло отправиться в Пронск. В камере, кроме меня, находились два старика и один лейбгвардейский солдат, дезертир, Бородавкин, пересылавшийся в свою часть.

Одна мысль сверлила мой мозг: „надо действовать". Я узнал от Бородавкина, что он ходит свободно на станцию и в поселок и что он вместе с конвойными пил водку. Тогда я дал ему пять рублей, попросил купить водки и организовать выпивку вместе с конвойными. За это дело Бородавкин взялся с удовольствием и через час сообщил мне, что принес бутылку водки, которая находится в дежурной конвойной команды и отдал мне сдачу. Через четверть часа пригласили меня в дежурку. При этом я узнал, что дело мое об экспроприаци почт.-телегр. конторы известно конвойным, что в пересылку приходили поч.-тел. служащие и смотрели на меня в дверной волчок, и что конвоирам поручено строго охранять меня и не дать возможности бежать. При чем старший конвойный спросил меня:

— Неужели вы побежите от нас?

— Почему же не бежать, если представится возможность? —ответил я вопросом.

— Да ведь вы этим подведете нас!

— Не я, так другой подведет вас на этой службе. Пока вы в этих костюмах и с этими винтовками, а мы в этих кандалах,—говорил я, — вы не можете доверять нам, а мы должны изыскивать способы своего освобождения от этих кандалов и вообще из тюрьмы. Ведь вы меня не отпустите на свободу добровольно, потому что вам не желательно из-за меня понести, хотя бы и не столь значительное

наказание. Почему же я из-за вашего благополучия должен понести более суровое наказание?

За подобными разговорами мы выпили бутылку водки, и Бородавкин принес вторую.

Посовещавшись (притворившись пьяным, я подслушал их), конвойные для собственного спокойствия—пьяный не убежит—решили еще подпоить меня, поставили от себя бутылку водки и стали угощать меня. Я выпил еще немного и, „совсем пьяный", ушел спать в камеру.

Конвойные отвели мне место на нарах против дверного волчка и предупредили, чтобы я не уходил на другое место. Старики в это время около тусклой лампы отыскивали паразитов в своем белье. У двери стоял часовой. Но из дверного волчка была видна лишь часть камеры, вторая же часть с одним окном, выходившим во двор не была видна, и на этом построен был план побега.

Побег.

Скоро старики легли спать. Бородавкин ходил по камере, курил и спать как будто бы не собирался. Свободные конвойные допивали водку и громко разговаривали. У меня мелькнула мысль, что Бородавкину поручено смотреть за мной. Я ему сказал, что в эту ночь я должен бежать, и если он помешает мне, то я сумею с ним расправиться самым беспощадным образом. Это оказало на него должное воздействие, и он в доказательство того, что не выдаст меня, стал помогать мне приводить план в исполнение, а затем, не решаясь остаться в камере после моего побега, бежал вместе со мною. По моему поручению Бородавкин подошел к волчку и стал разговаривать с часовым, загораживая собою волчок. Я тем временем обмотал кандалы портянками, чтобы не гремели, положил на мое место чучело, накрыл его своим одеялом, отошел в другую сторону камеры, куда не хватал глаз часового, и стал выставлять внутреннюю раму окна. Бородавкин отошел от волчка и лег на нары рядом с моим чучелом. Через пять минут послышался его храп и, сливаясь с храпом стариков, успокаивающе действовал на часового и давал мне возможность потихоньку подготовлять окно.

В четыре часа утра окно и решетка были уже готовы. Сменился караул, и часовой, убедившись в полном спокойствии, скоро задремал. У решетки был выломлен один прут, и я вылез свободно, а Бородавкин, как рослый гвардеец, застрял в решетке, и мне пришлось с ним долго возиться. Со двора мне было трудно в кандалах перебраться через забор, но в этом мне помог в свою очередь Бородавкин. Отойдя от тюрьмы с версту, мы вышли на линию жел. дороги и стали камнем на рельсах разбивать кандалы. Ободья кандалов и заклепки оказались настолько мягкими, что никак не подавались.

Начинало разсветать, и в кандалах итти дальше становилось рискованным. Одна нога у меня была уже разбита, и из нея текла кровь, но мы, не теряя надежды, продолжали гнуть из стороны в сторону ободок кандалов.

Наконец, одна заклепка лопнула, одна нога освободилась. Медлить нельзя было. Я спрятал цепь под брюки и подтянул ее поясом Теперь я имел возможность даже бегать.

В ближайшей деревне мы зашли в одну бедную избушку. Она

стояла в стороне и загораживалась другими избами, а поэтому и выглядела хорошей защитой. Нашего появления в деревне никто не заметил, т. к. мы вошли в нее рано утром. В деревню заезжали и стражники, но они были на главной улице и очень не долго. На этой квартире мы переждали самый горячий момент и затем незаметно выехали из деревни в телеге, укрывшись крестьянскими армяками от накрапывавшего дождя. По дороге возчик заметил мои кандалы и сразу понял, в чем дело. Он потужил, что не знал об этом в деревне, где мог бы снабдить нас зубилом и молотком или же просто расковать меня. Отвез нас за 20 верст и не взял платы.

Теперь мы чувствовали себя спокойнее. Первую ночь мы шли часов до двенадцати и затем усталые легли спать в поле.

С нашей внешностью нам рисковано было показываться в людных местах: я — в летней тужурке, в учительской фуражке, в узких брюках на выпуск, которыми кандальная цепь от пояса до ступни левой ноги обтягивалась как веревка; за три месяца пребывания в тюрьме, где не брился и не стригся, обросший на столько, что походил скорее на монаха, чем на учителя; Бородавкин, сбросивший свое военное обмундирование в камере, в моем летнем пальто, которое было ему и очень узко и коротко, в брюках чуть пониже колен, в моей шляпе и туфлях.

За вторую часть моих кандалов мы принимались еще несколько раз, но снять их не смогли. Местность нам была незнакомая, и это ухудшало наше положение: ночью итти, не знаем куда, а днем рисковать нам было нельзя, и поэтому мы ложились спать лишь после крайнего изнеможения, а встав, дрожали, как в лихорадке, и разогревались ходьбой.

Выйдя на Сызр.-Вяз. линию, мы пошли по направлению к Моршанску. В одном лесу, верстах в сорока от Ряжска, нас заметили лесные стражники, когда мы разбивали кандалы. В одной из жел.-дор. будок, мы встретили сторожа, сочувствовавшего освободительному движению, посещавшего нелегальные митинги и попавшего где-то под казацкие нагайки. Когда мы ему сказали, что и для чего нам требуется, он побежал в сарайчик за зубилом с молотком, но открыв дверь избушки и заглянув в поле, он увидел стражников во главе с приставом и предупредил нас. Мы незаметно вышли и удалились в в близ лежащий лесок. Ночью с одного раз'езда мы попробовали сесть в пустой вагон товарного поезда, шедшего на Моршанск; кондукторская бригада заметила нас и потребовала от нас освободить вагон. Мы им предложили за проезд до Моршанска несколько грошей, и они согласились. Из подслушанного у них разговора Бородавкиным выяснилось, что они в нас подозревают бежавших из Пронской пересыльной тюрьмы, о которых слышали в Ряжске, и хотят на первой станции пригласить в вагон жандарма. После этого нам оставаться в поезде было больше чем рисковано, и мы на ходу поезда выскочили из вагона и стали продолжать путь пешком.

В Моршанске я знал одну женщину, но не помнил ее фамилии и имени. Я хорошо знал дом, в котором она жила, знал, что она была членом Моршанской группы партии Эс-Эров,—что у нее явочная квартира. и считал, что для меня это вполне достаточно, К тому же я полагал, что она меня знает, а если и не знает, так мои кандалы смогут заменить собою пароль.

Пробравшись к дому знакомой мне женщины, мы позвонили.

Нам открыла дверь прислуга, смерила нас с головы до ног подозрительным взглядом и заявила:

— Барыня спит.

На мою просьбу разбудить ее, ответила отказом и захлопнула дверь. Я посмотрел на Бородавкина. Лицо его было взволнованным.

— „Мы здесь попадемся“, сказал он.

Из оставшихся у меня 1 р. 20 к. я отдал Бородавкину один рубль и предложил ему итти прямо по улице за город и там ждать меня.

Бородавкин согласился с радостью. Мои кандалы его волновали

Через некоторое время я вновь подошел к знакомой мне двери и позвонил. В это время мне как бы кто-то шепнул на ухо „Попова“. Открывшая дверь прислуга спросила меня:

— Вы какую барыню ищете-то? Как ее звать?

— Попова — ответил я.

— Ну вот, а просите разбудить! — укоризненно, качая головой, говорила жейщииа: Попова живет вот в заднем доме, а не здесь!

— Да ведь она же здесь жила эту зиму! попробовал я оправдываться.

— Жила здесь, а теперь переехала вот туда!

Это сообщение меня обрадовало. Я вспомнил ея фамилию, и при том она живет здесь в этом дворе; я сейчас увижу ее и освобожусь от кандалов, которые, кроме всех неудобств, растерли в кровь мне ногу и причиняли невыразимую боль.

Позвонил по указанному адресу. Дверь открыла толстая лет пятидесяти барынька. Я спросил Попову, и она предложила мне войти. Это предложение обрадовало меня еще больше, но каково же было мое удивление и положение, когда меня представили лет семидесяти старухе, с трудом помещающейся в большом кресле! Я увидел пред собой внушительную тушу дряблого старческого мяса с седым париком на голове, и смутился. Оправившись, я вышел.

Знакомая мне дверь не давала мне покоя, и я позвонил вновь. Теперь уже на пороге появились две женщины. После некоторых об'яснений они решились разбудить барыню и предложили мне войти. Я вошел. Дверь за мною заперли и затем провели меня в приемную. Здесь, увидев на стенах разное оружие и офицерские доспехи, я убедился в своей ошибке, но отступление было уже невозможно. Через пять минут вышла барыня и, конечно, не та, которую розыскивал. Я, извиняясь, изложил какие-то причины, заставившие так розыскивать знакомую мне женщину. Причины показались "барыньке" основательными, и она предложила мне описать портрет розыскиваемой мною женщины. Я описал. Барыня подумала и сказала:

— Так это, очевидно, Николаевская. Получив ея адрес, я поблагодарил барыньку и, извиняясь за безпокойство, тихо, стараясь не загреметь кандалами, вышел.

На последние двадцать копеек я взял извозчика по полученному мною адресу. Через пять минут я уже входил во двор указанного мне дома. Во дворе на меня набросилась целая свора охотничьих собак. У вышедшей женщины я узнал, что „барыня“ дома, но видеть ее нельзя, потому что „барин“ дома. В дальнейшем ея разговоре однако выяснилось, что барин сейчас уедет на охоту. Я вышел на улицу, сел на скамейку, закурил и предался созерцанию окружающего. Три вывески, расположенные в разных местах двух домов на противоположной стороне улицы, которые я прочел, гла-

сили; „Моршанский Тюремный Замок“, „Моршанское Уездное Полицейское Управление“ и „Моршанское Казначейство“. Из окна тюрьмы кто-то, как мне казалось, грустно смотрел на меня и, быть может, завидовал мне, свободному гражданину. И я задумался о тех, кого жизнь, ведя разными путями, невольно для них об'единяла за этой тюремной решеткой; о рабочем, учителе, крестьянине, о борьбе с капиталом, которой полна жизнь рабочего, о борьбе с помещичьей кабалой, которую ведет крестьянин, о борьбе за социальное просвещение, которую ведет, на пользу их обоих, с народной темнотою учитель; и о том вольном союзе их, который один в состоянии разрушить строй, основанный на эксплоатации трудящихся, и на его развалинах строить новый, социалистический порядок... Лай собак прервал течение моих мыслей. Муж женщины, которую я искал, выехал на охоту.

Я поднялся со скамейки и снова вошел во двор. Там я увидел ту самую женщину, которую розыскивал. Она меня не узнала. Я назвал себя: она с трудом вспомнила мое имя, и предложила войти. Проводив меня в одну из комнат, она попросила подождать ея минутку и удалилась. Я заложил дверь на крючок и, вытащив из-под брюк кандальную цепь, вновь отпер дверь. Цепь сложил на полу около печи. Вернувшись в комнату и увидев кандалы, Николаевская смутилась было, но узнав, что я бежал не из Моршанской тюрьмы, успокоилась. Затем пришел сын ея с молотком и зубилом, мы с ним сняли кандалы. Николаевская отнеслась ко мне с горячим участием. Через час постриженный и чисто выбритый, в студентческой форме я шел отыскивать товарища по несчастью и счастью во время побега, Бородавкина.

Через три дня я уже ехал в Тамбов под другим именем.

И. Иванов.



По ту сторону тюремной стены.

(Странички из прошлого и пережитого).

ГЛАВА I-я.

К формальному дознанию.

Медленно—мучительно протекали дни в строгой одиночке Каменец-Подольской губернской тюрьмы. Серые тюремные дни похожи друг на друга, как две капли воды. Сам с собою в четырех стенах своей клетки. Каким наслаждением казалось тогда видеть живое человеческое лицо, слышать живую человеческую речь. С завистью смотрел я на уголовного арестанта, который раз в неделю приходил убирать камеру в присутствии надзирателя. Но зато эта потребность в человеческом обществе, которая особенно остро чувствуется в одиночном заключени, компенсируется интенсивной работой над собой, усилением самонаблюдения и самоанализа. Без книг и письменных принадлежностей, не допущенных мстительными жандармами, мысль работает напряженно. Все чувства и нервы находятся в обостренном состоянии. Как на ладони, встает перед тобою все прожитое на воле. Перед судом своей совести и убеждений, безпощадно бичуеш оплошности и ошибки, сделанные в работе. Подводишь итоги бурному, полному тревог и волнений подполью. Ищешь причины неудач и поражений. Как будто пелена, повязка спала с глаз. На ряду с вопросами личного и социального бытия, терзающими мозг, еще сверлит и точит червь сомнения и подозрения... Неужели это возможно!? Неужели эти люди, которым так доверял, оказались предателями! Неужели человеческая подлость может так искусно маскироваться в течение четырех лет? А ведь все обстоятельства последних провалов, имевших место в районе нашей работы за 1912—12 г.г., наводили на эту печальную мысль.

Полный таких мыслей, охваченный тревогой за судьбу своих товарищей—соратников по делу и идее, шагал я по своей камере. Я жду решения своей участи в департаменте полиции. Ведь переписка обо мне между Каменец-Подольскими жандармами и департаментом полиции, возбужденная еще в 1913 г., должно быть, уже закончена. Правда, жандармы знают все про нашу работу. Но им не удавалось достать материал для процесса. Ведь никто из солдат Украинского и Крымского полков, квартировавших в Виннице и К.-Подольске, а также и никто из рабочих, показаний против меня не дал. Открытых предателей нет, есть только показания секретных агентов. Арестован же я без всякого компроментирующего материала. Я жду отправки на 5 лет в Нарым или, в худшем случае, в Туруханский край. Приговор придет на днях, и я вырвусь из этой клетки. А из ссылки есть дорога обратно... Обратно, и в манящий и одновременно отталкиваю-

щий Париж, а там снова в Россию продолжать и продолжать начатое нашими скромными силами дело возрождения анархистской работы в гуще рабочих, крестьянских, и солдатских масс. А работы так много! После Ленских событий начался шквал стихийного рабочего движения, волны которого поднимаясь должны были привести к девятому валу... А для этого надо глубже бросать семена нашей пропаганды, концентрировать волю и сознание масс вокруг наших лозунгов и идей.

С такими надеждами и планами проснулся я 2-го апреля 1914 г. Не успел позавтракать, как открылась дверь моей одиночки и пом. начальника пригласил меня в контору. Поджидавший там бравый жандармский унтер-офицер попросил меня следовать за ним. За тюремными воротами нас ждал извозчик; мы уселись и поехали. Было чудное весеннее утро. Все в природе, казалось, пело хвалебный гимн наступающей весне, освободившей землю от ледяного покрова зимы. За тюрьмой—живописный ландшафт утопающих в зелени окрестностей города. Чем дальше мы отдалялись от тюрьмы, тем сильнее я чувствовал, что пьянею от воздуха, солнца и близости манящей, дразнящей воли. Я жадно всматриваюсь в попадающиеся на встречу предметы и в лица прохожих в надежде встретить кое-кого из знакомых. Не обращаю даже внимания на моего спутника в синем мундире с заряженным браунингом в руках. Мы оба храним молчание; для меня ясно, куда меня везут. Через полчаса извозчик остановился у здания маленького домика, на дверях которого красовалась табличка с надписью: „Подольское Губернское Жандармское Управление". Не без волнения вхожу я в это учреждение, где долгие годы плелась паутина сыска, провокации и предательства, учреждение, где, по выражению Феди из драмы Л. Н. Толстого: „Живой Труп", люди получают каждое 20-е число 30 сребренников за пакости, учреждение, где слабовольные, не выдержав искушения, пали, запутавшись в сетях, расставленных опытными серцеведами—жандармами. Меня вводят в одну из многочисленных комнат, в которой сидят двое в штатском. Часто открываются двери, и какие-то люди осматривают меня пронизывающим взглядом. Подержав меня немного в этой комнате, меня переводят в другую, где за столом сидит жандармский ротмистр. Попросив меня присесть, он подает для заполнения протокол допроса и сам уходит. Через несколько минут появляется жандармский унтер и становится возле окна, следя за каждым моим движением. Протокол, который так любезно подсунул мне ротмистр, открыл мне глаза на цель моего присутствия здесь: это был уже протокол уголовного судопроизводства. Ясно, что мне открыли новое дело, что меня предают суду. Но в чем же дело? Ведь следствие им ничего не дало, и они со скрежетом зубовным решили примириться с административной расправой. Какие же новые обстоятельства ими обнаружены? Ведь, если они решили создать процесс, то, без сомнения, тут имеют в виду закатать меня на каторгу. Меня одолевает тревога и любопытство. Но они, как на зло, медлят. Я только слышу, как говорят по телефону из камеры прокурора, как в соседней комнате суетятся ротмистры и полковник. Я теряюсь в догадках и инстинктивно смотрю на окно, выходящее в сад... Но стоящий у окна цербер-жандарм возвращает меня к действительности.

Наконец, открывается дверь, и в комнату врывается начальник управления, полковник Переверзев, за ним входят товарищ прокурора и два жандармских ротмистра.

„Здравствуйте, господин Дрикер!“ воскликнул сияющий полковник Переверзев: „Вот и товарищ прокурора есть! Вы у нас, продолжал он торжествующе,—привлекаетесь уже к формальному дознанию! Понимаете, к ф-о-р-м-а-л-ь-н-о-м-у д-о-з-н-а-н-и-ю!“.

— „Понимать-то я понимаю, что такое формальное дознание“, отвечаю я: но какие у вас основания для такого дознания?“.

— „Сейчас мы вам покажем основания“.

С большим любопытством я жду продолжения этой комедии.

Побежав в другую комнату, он с видом торжествующего победителя возвращается с какими-то бумажками в руках и подает их мне. Я бегло просматриваю бумажки и встречаю адреса Женевы, Парижа, Черновиц и другие заграничные адреса, написанные мною еще четыре года тому назад. Адреса давно проваленные и никому не нужные, но главное то, что они писаны моей рукой. Но как они попали к ним? А ларчик просто открывается: оказывается, что они обнаружены в транспорте нелегальной анархистской литературы, найденной ими закопанной возле музыкантской команды Украинского пехотного полка. Открыто все это тогда, когда я уже сидел. С восторгом жандармские ротмистры несут тщательно перевязанные пачки последних заграничных изданий. Я узнаю: „Голос Труда“ „Рабочий Мир“, „Молот“ и др. литературу, вышедшую в 1911—12 г.г. за границей и предназначенную для отправки в центр России еще в 13-м году. Массовые обыски и аресты, произведенные в свое время, не дали жандармам никаких результатов. Теперь же услужливая рука Иудушки—провокатора дала им этот ценный клад, создав при этом искусственные улики против меня [1]).

„Это ваша работа? Это ваш почерк?“ засыпает меня вопросами торжествующая компания.

— „Я отказываюсь от всяких показаний“, отрезал я.

„Так мы за вас их дадим“, кричит, нервничая полковник, „но зато вы лишь начнете у нас сидеть“.

Через несколько минут мой прежний провожатый — жандарм везет меня в тюрьму уже как подследственного по 102 ст. с новым постановлением товарища прокурора о содержании меня под стражей в строгом одиночном заключении.

С тяжелым сердцем, усталый и равнодушный ко всему, под‘езжаю я к тюремному зданию.

Злая действительность, воплотившаяся в „формальное дознание“, искусно сшитое мастерами из департамента полиции, жестоко разбила все мои воздушные замки. Прощай Нарым и надежда на побег! Прощай, мечта о любимой работе! Снова на долгие годы закроются ворота тюрьмы, а в перспективе—земной ад каторги, полный унижения и оскорблений человеческой личности. С такими невеселыми думами вступил я снова в свою келью—камеру, с которой я уже свыкся, коротая там дни и проводя не одну безсонную ночь.

ГЛАВА II-я.

Соседи по заключению.—Под жандармским конвоем.

Не смотря на то, что мое положение ухудшилось в связи с переводом в ранг подследственных, сознание, что я сижу один по этому

[1]) Как впоследствии выяснилось, литература, хранившаяся на квартире у провокатора Свецинского, была им после моего ареста нарочно закопана у здания казарм. На это он получил санкцию от жандармских властей.

делу, что не обнаружены адреса и связи с другими городами, зафиксированные только в моей памяти, являлось источником физической и духовной бодрости. Кроме того появились другие обстоятельства, которые внесли разнообразие в тягостное одиночное заключение. Во-первых,—после целого ряда протестов удалось добиться книг с воли. Не помню точно когда, но, кажется, в первых числах мая я получил первую книгу—томик сочинений Салтыкова-Щедрина. Затем с переводом меня с верхняго корридора на средний, одиночный, я с помощью известного всем тюремным обитателям „тюремного телеграфа“ вступил в сношения с заключенными других одиночек. Тюремная азбука, введенная в употребление еще декабристами, заставляет говорить стены одиночек и дает возможность разговаривать тем, кто обречен на молчание.

Мой сосед, таинственный обитатель соседней одиночки, оказался Филипским, воспитанником местной гимназии, арестованным по делу так называемых „степных дьяволов“. Дело темное, сенсационное. Заключалось оно в следующем: в декабре 1913 г. в Екатеринодаре разбиралось дело какой-то уголовной группы, оперировавшей под именем „степных дьяволов“. А в феврале или в марте 1914 г. какой-то еврей, домовладелец в Каменец-Подольске, получил целый ряд угрожающих писем за подписью „степных дьяволов“. При чем письма были какого-то детского содержания. Но трусливый домовладелец не на шутку перепугался. Вся сыскная, наружная и жандармская полиция была поднята на ноги. Дом охранялся дежурившим отрядом сыскной полиции. И не смотря на это, в один прекрасный вечер петарда взорвалась у дверей его квартиры, не причинив никому вреда. Тогда же около дверей нашли еще одно подброшенное угрожающее письмо. Растерявшиеся жандармы и сыщики взялись за жильцов этого дома. В этом же парадном жил у своих родных гимназист Филипский. Полиция, производившая обыск у Филипских, заинтересовалась его, а также других квартирантов, почерками. У Филипских жила молоденькая девушка, не то воспитанница, не то прислуга, Оля Гипс, и ее почерк оказался схожим с почерком этих писем. Филипский и Гипс были арестованы. Жандармы, желавшие сначала придать этому делу политическую окраску, впоследствии вынуждены были отказаться от этого. Но сыскное отделение и судебные власти, законопатив Гипс и Филипского, желали их „обработать“. Вместе с Филипским посадили бывш. урядника Хлыстова, осужденного в арестантские роты за какие-то „художества“. Хлыстов, как верный царский слуга, исполнял роль тюремного шпиона. Днем он работал где-то в тюрьме и приходил в одиночку только на ночевку. Филипский был конечно предупрежден о его роли. Через Филипского удалось расшифровать обитателей остальных одиночек и узнать, кто и за что сидит.

По политическому делу сидел в одиночке Ян Бжижко. Молодой паренек, воспитанник Люблинской гимназии, он участвовал в скаутской организации ППС и ездил по делу организации в Галицию. Как видно, контрабандисты выдали его, и он на границе был арестован. При нем нашли военный ранец и записную книжку. Наивный зеленый юноша, он не знал, что такое карцер, хотел выписать себе газету в тюрьму и так далее. Хотя ему была пред'явлена 102-я ст., можно было ожидать, что судить его будут за участие в ученической организации, и он отделается крепостью. Но его погубила его наивная доверчивость ко всякому говорящему по-польски. Конечно, жандармы

нашли нужного им поляка. Был ли этим поляком ксендз, к которому ходил на исповедь, как верующий католик, Ян Бжижко или кто-либо другой, но жандармы получили агентурные сведения из тюрьмы обо всей Люблинской организации. Все члены Люблинской организации были арестованы, и Ян Бжижко был отправлен в Люблин на суд. Потом в 1915 году я слышал, что он был осужден на поселение.

В остальных двух одиночках сидели два интересных экземпляра. Первый—Хаим Иосиф Ладензон, быв. казенный раввин Могилевского уезда. Арестованный по делу грандиозной панамы по освобождению от воинской повинности, панамы, в которой были замешаны видные чиновники губернского присутствия, он сразу начал давать „честные" показания, т. е. выдал всех своих компаньонов. Он работал в тюремной больнице фармацевтом и исполнял обязанности тюремного шпиона. Не смотря на то, что дежурный надзиратель никого не подпускал к волчку моей одиночки, Ладензон как-то ухитрялся подходить и завязывать разговор. Он приносил мне иногда газеты, предлагая связь с волей. Газеты я, разумеется, принимал, но от его услуг отказался. Вторым, не менее интересным экземпляром, был некий Копытов, выдававший себя за сына австрийского министра. Про него говорили, что его везут на какой-то международный суд и т. д., но насколько эти фантастические слухи были правдивы, не знаю. Потом, когда меня за переговоры с Филипским, перевели в одиночку рядом с Копытовым, я как-то вечером подслушал его разговор с дежурным надзирателем. Он ему рассказывал про порядки своей родины Австрии. Но из этих разговоров я понял, что он в Австрии никогда не был. Затем он выдавал себя за студента-медика последнего курса. Простодушный надзиратель, заболев чем-то, обратился к нему за лекарством. Копытов прописал ему лекарство, которого ни в одной аптеке не оказалось. Так я просидел, наблюдая и изучая своих соседей, до июльских дней 1914 г., когда в воздухе запахло революцией и войной. Вести об июльских выступлениях питерских рабочих, а также об убийстве австрийского наследника в Сараеве дошли до тюрьмы, где жадно ловят всякую весточку с воли. Через моих соседей дошла эта весть и до меня. Радостно забилось сердце при известии о событиях в Питере. Ведь еще будучи на воле, я знал кое-что о настроениях питерских рабочих, и даже по легальным газетам „Лучу" и „Правде" можно было нащупать пульс рабочего движения в столице. Вспомнил не одну передовицу в этих газетах, трактовавшую об „анархистской опасности" среди питерских рабочих. Хотелось верить, что поднявшийся на борьбу рабочий класс пойдет на штурм не только царизма, но и капитализма, за освобождение подлинное, а не только бумажное.

20-го июля перед вечером меня вдруг вызывают с вещами в контору. Там я застаю чиновника жандармского управления Заруцкого и нескольких стражников. Кроме меня привели вышеупомянутого Копытова и еще несколько человек арестованных. Куда-то нас отправляют, куда? мы сами не знаем, и нам не говорят. Нас заковывают по-парно в ручные кандалы и усаживают на подводы. Уже стемнело, когда тронулся наш экскорт, руководимый жандармом Заруцким, который уселся на подводу напротив меня. Нас всего 8 человек арестованных, по два на каждой подводе. Арестованные—мнимые или действительные австрийские шпионы, за исключением закованного со мной крестьянина-контрабандиста. Мы выехали полем по направлению к ст. Ларга. После знойного июльского дня, проведенного в

душной тюремной камере, на поле дышалось легко и привольно. И я рад человеческому обществу, хотя бы оно состояло из контрабандиста и заведомого охранника—филера. Правда, ведут меня в темную неизвестную даль, но зато я вырвусь из опостылевшей одиночки Каменец-Подольской тюрьмы.

Мысленно прощаюсь с моим родным городом, источником моих бедствий и радостей, городом, с которым еще с 1903 г. связаны самые лучшие воспоминания и первые детские увлечения.

Выехавши далеко за город, жандармы и стражники решили сделать привал, чтобы покормить лошадей. Арестованные, закованные попарно, сходили с подвод. Копытов был закован с каким-то управляющим имением, австрийским подданным, по фамилии Дух. Бедный Дух дрожал, как лист, опасаясь, что его везут на расстрел, при чем Копытов его успокаивал, ссылаясь на свою „авторитетную" практику международного дипломата. Другая пара состояла из старика, галицийского еврея, и австрийского поданного, крестьянина Новака. Старик перешел границу в день мобилизации, желая кого-то посватать, и был арестован, как агитатор в пользу Австрии. Несчастный запуганный старик плакал, обливаясь слезами: полковник Переверзев грозил ему виселицей. Закованный же вместе с ним Новак оказался пройдохой; служившим одновременно и русским, и австрийским жандармам. Одним словом, наши пары вовсе не были похожи на пары из Ноева ковчега. Следующей оригинальной парой были: дряхлый старик-немец Гаазе-Цикерман и персидский еврей Нафтали. Семидесятилетний Гаазе-Цикерман был еще в 1903 году осужден в Варшаве за шпионаж в пользу Германии на вечное поселение, бежал из Сибири и под чужой фамилией работал в районе Винницы. В 1912 году он был арестован за попытку сфотографировать железно-дорожный мост возле станции Гнивань и осужден в арестантские роты. Отбывая наказание в Каменец-Подольской тюрьме, он сидел в одной камере с вышеупомянутым Ладензоном и открыл ему свое инкогнито. Ладензон сообщил об этом жандармам, и против Гаазе-Цикермана было возбуждено новое дело. Закованный с ним еврей Нафтали приехал для сбора денег в пользу какого-то еврейского училища в Иерусалиме и был арестован жандармами, как турецкий шпион. Не зная ни русского, ни жаргона, а только древне-еврейский, Нафтали никак не мог сговориться о необходимом со стариком Гаазе. Мне пришлось взять на себя роль посредника—переводчика.

Наконец, тронулись в дорогу. Около двух часов ночи переправившись через Днестр, мы уже были на ст. Ларга. Всюду видны солдаты и солдаты, эшелоны идут за эшелонами: идет передвижение войск на фронт. Казалось, что вся земля заслонена серым цветом военной шинели, что какая-то дикая вакханалия милитаризма, заглушив здоровые инстинкты народных масс, гонит их на кровавую бойню и взаимоистребление. На долго ли будут затуманены головы тех, кто поставляет пушечное мясо? спрашивал я сам себя, глядя на эти марширующие с лихими песнями армии молодых, полных сил людей, идущих убивать таких же, как они.

А за время моих наблюдений и размышлений пришел поезд, и нас усадили в арестантский вагон. Жандарм Заруцкий, желая щегольнуть своей „гуманностью", распорядился снять с нас ручные кандалы. Закусив из имевшихся у нас с'естных припасов, мы улеглись спать уже почти на рассвете. Проснулись мы, когда солнце было высоко. Мы уже были на ст. Окница. Поезд стоял там очень долго. Жандарм

Заруцкий, расшаркиваясь передо мной, бегал за покупками, и мне было приторно—противно от его ухаживаний. Желая показать, что он относится ко мне не только, как конвоир к арестанту, он принес мне свежий номер „Киевской Мысли". Я жадно набросился на газету. Передовица, полная напыщенных патриотических фраз об „освободительном" и „оборонительном" характере войны, меня еще больше расстраивает. Я начинаю читать телеграммы и хронику, и со страниц этой жиденькой либерально-меньшевистской газеты повеяло каким-то диким кошмаром. Даже петербургские рабочие охвачены патриотическим воодушевлением. Неужели это возможно? как будто вся страна охвачена каким-то психозом, больна, как выразился Герцен, патриотическим сифилисом. Я бросаю газету: нет сил читать. А тут, пока стоял поезд, возле окна нашего вагона стала собираться толпа любопытных. Не знаю, или потому что в первые дни войны толпа всякого арестованного считала шпионом, или же кто-то пустил слух, что в нашем вагоне везут австрийских шпионов, но среди собравшихся начали раздаваться угрожающие крики по нашему адресу. Больше всех, разумеется, кричали женщины, поднимая на руках своих малюток-детей, которые, мол, остаются сиротами из-за нас, мнимых виновников войны. Не только арестованные, но и наша стража побледнела, опасаясь расправы с нами. К счастью, тронулся поезд, увозя нас от этих полных гнева и негодования людей. „Вот видите, Дрикер", обращается ко мне жандарм Заруцкий: „что значит толпа! Дайте ей агитатора, и она вас растерзает". И мне больно слышать в устах жандарма рассуждение о „толпе и героях". Я думаю об изгибах и извилинах народной души и ея патологических проявлениях. Мне вспоминается имевшие не раз место в истории массовые психозы.

Приближается вечер. Мы под'езжаем к станции Жмеринка. Лишь там нам об'являют, что нас везут в Винницкую тюрьму. Ночью прибыли в Винницу. От вокзала к тюрьме шли пешком, закованные попарно. По приходе в тюрьму нас направили в одиночный корпус, построенный по новому образцу, рассадив каждого отдельно. А как не хотелось итти в одиночку после этого хотя и невольного путешествия. Захлопнулась дверь камеры, и до меня доносились вопли и крики стариков Нафтали и Гаазе, запертых, как и я, в одиночки. Один кричал по древне-еврейски, другой по-немецки и еще третий по-галицийски. Под эти душе-раздирающие крики я заснул в своей новой обители.

ГЛАВА III-я.

Дальнейшее следствие.—Суд.—Приговор.

Режим в одиночном корпусе Винницкой тюрьмы, построенной по последнему слову тюремной техники, не был столь жестоким, как в Каменец-Подольской тюрьме. Тюремная администрация, в особенности низшие чины, смотрели сквозь пальцы на все „грозные" предписания жандармов. Хотя в уборную и выпускали только по одному человеку, но на прогулку всех заключенных в одиночках выводили вместе. Вообще Винницкая Центральная Тюрьма [1]), построенная в 1912-м году, славилась в арестантском мире своим слабым режимом;

---

[1]) Хотя Винницкая тюрьма и считалась Центральной, но в ней сидели не только каторжане, но и подследственные, ротники и др. категории.

ее даже прозвали „Винницкой республикой“. Начальником тюрьмы в то время был некий Свергодский, быв. мелкий чиновник сыскного отделения. Еще в бытность начальником Могилевской уездной тюрьмы он слыл отцом арестантов: например, брал проценты с „контрибуций“, которые уголовные арестанты накладывали на богатую публику, попавшую в тюрьму за какие-либо случайные преступления. Про Свергодского арестанты рассказывали чудовищные анекдоты. Говорили, что он за деньги выпускал арестантов на ночь на „работу“.

На второй день моего пребывания в Винницкой тюрьме Свергодский удостоил меня своим посещением, во время которого между нами произошел следующий характерный разговор:

„Я про вас слыхал“, начал Свергодский: про вас рассказывают ужасные вещи! Прямо таки „невероятные вещи“!

„Я про вас тоже слыхал“, отвечал я ему: „про вас рассказывают прямо таки невероятные вещи“.

Не знаю, понял ли он мой намек или нет, но я из его слов понял, что жандармы запугали его, раздувая мою роль и преувеличивая значение моей персоны. В общем он за все время моего сидения пакостей мне не чинил. Приходя иногда на поверку, он, любезно расшаркиваясь, справлялся о здоровьи и даже возмущался жандармами, которые так долго гноят людей по тюрьмам. Насколько это было искренне, это, конечно другой вопрос.

Можно сказать, что в тот период заключение было сносно. Я пользовался книгами из тюремной библиотеки, мне удалось завести переписку с волей и получать периодически газеты. Жандармы, конечно, меня не тревожили. В каком положении находится следствие по моему делу, я не знал, но я был уверен, что никто, кроме меня не был арестован. Так я думал. Но оказалось, что несмотря на наступление австрийских войск и неоднократные эвакуации Каменец-Подольска, жандармы продолжали розыски лиц, которых можно было бы склонить к даче показаний против меня.

В последних числах октября 1914-го года, когда Каменец-Подольская тюрьма снова эвакуировалась в Винницу, туда прибыл арестованный рабочий-переплетчик Зусь-Бровеман, состоявший в последние годы в одном из наших кружков. Он когда-то дал свой документ одному нелегальному, который им даже не воспользовался. Но почему-то документ не был возвращен и остался на хранении у того, который впоследствии оказался предателем. Им этот документ вместе с адресами, написанными моей рукой, был положен в транспорт нелегальной анархистской литературы. Жандармы долгое время об этом молчали. В конце 14-го г., убедившись, что им не удастся обнаружить нужные им связи, они решили выместить свою злобу на этом рабочем. Арестовав его, они его обманули, сказав ему, что я арестован якобы по его документам. Но не смотря на все угрозы жандармов, он оказался достаточно стойким и твердым и разочаровал их в их надеждах на него. Но они решили приобщить его к делу, думая использовать его на суде. Вспомнилась мне тогда угроза полковника Переверзева: „Мы за вас дадим показания“.

В последних числах декабря прибывшими из Каменца жандармским ротмистром Степановым и товарищем прокурора Винницкого Окружного Суда мне было об'явлено, что следствие по моему делу закончено. В январе м-це 1915 г. мне был вручен обвинительный акт. Ознакомившись с этим произведением, я больше укрепился

в своих предположениях относительно двойственной роли, которую играли впоследствии разоблаченные провокаторы, муж и жена Свецинские[1]) в Каменец-Подольске и Максим Абрамов в Москве. Ибо те агентурные сведения, на которых главным образом было построено обвинение, могли давать только они. Затем обвинение базировалось на переписке, добытой путем тайной перлюстрации писем. Дальше излагалась моя краткая биография. Наличность же преступления, предусмотренного 102-ой ст., подкреплялась адресами, писанными моей рукой и обнаруженными в транспорте нелегальной литературы. Но интересней всего, что обвинение приписывало мне руководство подпольной работой тогда, когда я уже сидел в тюрьме. Моего же сопроцессника они связали с моим делом при помощи обнаруженного ими его документа. Заканчивался обвинительный акт заключением, по которому мы предавались суду Одесской Судебной Палаты с участием сословных представителей, при чем дело должно было слушаться при закрытых дверях.

Я, конечно, ни на минуту не сомневался в том, что каторжный приговор мне уже давно подписан. Это чувствовалось в том „внимании“, которое оказывали мне посещавшие тюрьму чины прокуратуры и жандармского корпуса, заглядывавшие в мою одиночку. Не скрывая, они говорили о „каких-то особых соображениях“, вследствие которых меня предают суду. И потому мне еще больше была противна предстоящая комедия суда. Но мое положение усугублялось тем, что я не один предаюсь суду, что появился неожиданный сопроцессник, которого выставляют, как „жертву“ нашей работы. Я чувствовал себя связанным и ответственным за его судьбу.

Все время меня уверяли, что судить нас будут в Виннице. В ожидании суда мы просидели до весны 15-го года. В марте м-це нас неожиданно взяли на этап, и тут не обошлось без мстительного подвоха. Не смотря на то, что из Винницы в Каменец-Подольск отправлялись арестантские вагоны прямым железнодорожным сообщением, нас отправили через Жмеринку на ст. Ларгу, откуда мы шли до Каменец-Подольска пешком по грязи около шестидесяти верст.

Измученные и усталые, пришли мы в Каменец-Подольскую тюрьму, которая показалась нам шикарной гостинницей. С ехидным злорадством встречают меня Каменец-Подольские тюремщики: „Наконец-то пожаловали к нам из Винницкой республики“. Нас, конечно, посадили в одну камеру, где мы просидели несколько дней до начала заседания выездной сессии Одесской судебной палаты.

2-го апреля 1915 года утром, в 10 часов, ровно через год после того, как мне было об'явлено о формальном дознании, пришедший конвой повел нас на суд. Нас вели окраиной, глухими улицами, минуя центр города. Вот проходим мы мимо знакомых солдатских казарм, где с 1909 года, мы положили начало антимилитаристской пропаганде; вот пересекаем переулок, где помещалась наша последняя конспиративная квартира. Подходим, наконец, к зданию Окружного Суда; нас вводят в „величественный“ храм богини Фемиды, где за столом с олимпийским величием восседают ее „непогрешимые“ жрецы, творя „суд скорый, правый и милостивый“. Пред-

---

[1]) В 1919 г. лицо, знавшее Свецинского, встретило его случайно в Чернигове, где он состоял членом КПБУ и занимал довольно ответственный пост. Разоблаченный этим лицом, Свецинский был задержан ЧЧК. О дальнейшей судьбе его ничего не известно.

седательствует небезызвестный в Одесском округе Хлодовский. Начинается чтение обвинительного акта. Зала суда очищается от публики. Я прошу оставить в зале брата и мать. Их оставляют. Вдруг во время чтения обвинительного акта председатель Хлодовский требует удаления моего брата. Быстро заканчивается процедура судебного следствия. Председатель задает вопросы, уместные в устах жандармов и охранников. Не оправдал надежд жандармов мой сопроцессник Зусь-Бровеман, который с достоинством держал себя на суде. Товарищ прокурора Одесской судебной палаты Данильченко за отсутствием живых свидетелей аппелирует к „мертвым“, так он назвал фугурировавший на суде транспорт нелегальной литературы, называя ее колоссальным разрушительным материалом. На суде от последнего слова отказываюсь. Суд удаляется на совещание, и товарищ прокурора уходит вместе с ними. Через полчаса суд выносит приговор: мне 4 года каторги, моему сопроцесснику 1 год крепости. На основании агентурных сведений, перлюстрации писем и характеристики жандармов суд признал меня виновным в организации групп анархистов-коммунистов, поставивших себе целью подготовку восстания в войсках, расположенных в пределах Подольской губернии, а также в организации транспортного бюро нелегальной анархистской литературы. Суд и приговор еще больше укрепили меня в верности линии нашей работы, которую мы вели с 1909 г., стараясь свести к минимуму эффектные боевые выступления и отдавая преимущество пропагандистко-кружковой работе среди рабочих и солдатских масс. Мое дело и все сопровождавшие его обстоятельства показали, как буржуазия и власть имущие боялись массовой пропаганды идей анархизма. Потом уже, когда Революция 1917 г. открыла нам тайник департамента полиции и жандармских управлений, я узнал, как они всполошились тогда в Петербурге при известии о водворении в Россию анархистской литературы. Например, из-за того, что в последнем обнаруженном транспорте оказалось меньше 5-ти пудов, департамент полиции, опасаясь, что часть литературы распространена, вступил по этому поводу в обширную переписку с Каменец-Подольскими жандармами, упрекая их за то, что они не могли сразу же задержать всю анархистскую литературу. Полковник Переверзев солгал дипломатично-курьезно: он ответил директору департамента полиции Виссарионову, что жена секретного сотрудника по группе а.-к., будучи слабой женщиной и к тому же беременной, ошиблась в весе, принимая 4 пуда за 5. Суровая расправа надо мной была продиктована описанными выше причинами.

Уже к вечеру возвращались мы обратно в тюрьму теми же закоулками. „Ну, что слышно, Дрикер?“ спрашивает меня с затаенным любопытством принимавший меня старший надзиратель. „Четыре года каторги“, отвечаю я. И по тому, как они меня обыскивают, я чувствую, что я уже каторжник, и что отношение ко мне резко изменилось. А ведь утром перед уходом на суд, они даже не смели обращаться на ты, не желая иметь столкновений со мной.

На второй день нас повели снова в Окружной суд для об'явления приговора на предмет обжалования его в кассационном порядке. Подавать кассационную жалобу мы отказались.

По возвращении из суда меня сразу же переодели в арестантское платье, остригли и заковали в ножные кандалы, посадив в общую каторжную камеру. Когда я протестовал против этого, ссылаясь на то, что приговор вступает в законную силу через месяц, то

мне заявили, что сделано это по распоряжению высших властей, т. к. имеются сведения, что мне готовят побег.

Процесс переодевания и заковки, а также переход от одиночного заключения в общую уголовную камеру не могли не отразиться на мне. Я начинал первые дни новой жизни, полной унижений и надругательств, жизни, где на каждом шагу топчут ногами все, что свято и дорого в человеке. Ведь ужас каторги не только в избиениях и карцерах, как думают многие, а в будничном ежедневном режиме, обезличивающем человека, причиняя ему несравненные физические и нравственные мучения. Но зато предо мной открылся новый мир, мир отверженных париев современного строя, несчастных жертв социального неравенства, мир, изуродованных и искалеченных типов.

Через 12 дней я, уже гремя кандалами, шел по улицам Винницы в партии каторжан, отправляемых в Херсонский централ [1]).

ГЛАВА IV-я.

Революция.—Освобождение.

Нигде не было столько слухов, иногда прямо фантастических о предстоящих манифестах и милостях, как в тюремном мире, в особенности среди уголовных. То ждут не дождутся «белого царя», которым должен стать Николай II-й, то ожидается появление новой наследницы у царицы, то к другому какому-нибудь событию в жизни царской семьи приурочат чаемую монаршую милость. Среди уголовных, рядом с их бунтарством по отношению к тюремной администрации, уживались верно-подданнические чувства по отношению к монарху. В Херсонском централе мне пришлось встретиться с такими уголовными каторжанами, которые заявляли, что откажутся выйти на свободу, если их освободит революция, а выйдут только по высочайшему манифесту. Но особенно ярыми монархистами были так называемые обратники и старые сахалинцы. С началом войны разговоры и надежды на предстоящую царскую милость еще больше усилились.

Что же касается политических каторжан, то большинство относилось скептически к тем слухам об амнистии, которые начали циркулировать еще летом 1915 г. Все были убеждены, что, если так называемым „прогрессивным элементам“ общества и удастся пойти на сделку с царским правительством, то результатом этого будет куцая амнистия, которая нас, каторжан, не коснется. А надежд на скорую победосную революцию, которая открыла бы двери тюрем, было мало. Слишком измучены режимом каторги и оторваны от жизни были политические каторжане, чтобы верить в близкое освобождене. Это не значит, конечно, что мы не верили в победу Революции вообще, но нам казалось, что, пока продолжается война, психологически внимание масс было приковано к фронту, к борьбе с „внешним врагом“. Поэтому ближайшая победа революци казалась нам мало вероятной. Мы, конечно, по периодической прессе следили

[1]) Своего пребывания в Херсонском Каторжном Централе я не описываю здесь: во-первых, потому что жизнь и быт каторги уже достаточно освещены в литературе, а во вторых, в № 1 сб. „Каторга и ссылка“ Киевского отделения я описал наиболее яркие и интересные события, наблюдаемые мною во время моего пребывания на каторге.

за теми планами, которые строили думские круги, мы знали о выступлениях Николаевских рабочих в 1915 г. и Петербургских в 1916 г. и о реакции, последовавшей после их подавления. И те из нас, которые были людьми „свежими", с воли, были убеждены, что если бы не война, то революция произошла бы в 1914—15 г.г. и что война и была затеена для того, чтобы разрядить накопившееся недовольство.

Но как бы то ни было, и пессимисты и оптимисты не ждали такого быстрого освобождения потому, что человеку, живущему долгие годы в условиях каторжного режима, свыкшемуся с ним, такое освобождение могло казаться чудом.

С января 1917 г. я находился в околотке Херсонского Централа. Как раз перед революцией закрылись пути, по которым мы получали газеты с воли. О событиях 27—28 февраля мы ничего не знали. Правда, 1-го и 2-го марта к нам в околоток стали проникать слухи о событиях в Петрограде, но я и другие товарищи по камере считали эти слухи очередной тюремной уткой. 3-го марта нам из больницы передали список новых министров, но мы не верили ему, считая, что он мог быть составлен кем-нибудь из арестантов. 4-го марта мы проснулись, не подозревая даже, что мы встречаем последний день в тюрьме. Со мною в околоточной камере находились политич. каторжане: Левенсон, осужденный на 10 лет которги за участие в Хотинской группе анархистов-коммунистов и Ян Линин, осужденный в декабре 1914 г. на 4 года каторги за принадлежность к латышской группе анархистов. Рядом с нашей камерой на околоточном перевязочном пункте работали полит. каторжане: Чапка, елисаветградский анархист и Акимов, с.-д. из Кишинева.

Около 12 ч. дня Акимов нам передал, что в контору приехал товарищ прокурора. Приезд чинов прокуратуры был нередким явлением, но в этот день наше напряженное внимание придает этому событию особенное значение. Через несколько минут звонят по телефону из конторы к отделенному надзирателю. Мы чутко прислушиваемся к тому, что происходит в этот день на корридоре: и вот мы слышим, что требуют арестанские билеты в контору. В тюрьме это практикуется часто, но в те минуты это нас расстраивает и раздражает. В камере создается тяжелая атмосфера; лежавшие вместе с нами в околотке уголовные начинают проявлять вполне понятные в те минуты враждебность и зависть. Через несколько минут вызывают Чапку и кого-то еще в контору. Мы думаем, что это так себе за чем-то вызывают. Но... вызывают и меня. Левенсона оставляют. Мы спрашиваем; зачем? Нам отвечают, что мы должны давать справку прокурору о нашей судимости. Вот и все! Какое разочарование? Привели нас в надзирательское помешение, где мы уже застали собранных со всего централа человек двадцать, преимущественно осужденных по 102 ст. Никто не знает, в чем дело, все строят догадки и предположения? В беседе между собой проходит около получаса. Раздается команда: смирно! Мы становимся неохотно, кто как попало. Входит знакомый нам начальник тюрьмы Синайский, бледный и разстроенный, за ним товарищ прокурора. На крик Синайского: „Здорово!" почти не отвечаем.

Медленно, спокойно, нудным голосом товарищ прокурора вызывает нас по фамилиям. Кончилась перекличка. Мы стоим, затаив дыхание. А прокурор не особенно спешит, как будто играет на наших нервах. Наконец-то, он начинает читать еще медленней и

нудней: „По распоряжению министра юстици... (Пауза) члена государственной думы Керенского... (Опять пауза). Вы... (Опять длинная пауза) с-в-о-б-о-д-н-ы...“ Последнее слово он произнес таким тихим голосом, что мы едва разслышали и поняли, в чем дело. Как, мы свободны?! набросились мы на него, сами не веря тому, что слышали: может быть это обман слуха, галлюцинация разстроенного воображения. „Да, вы свободны“, ответил он более отчетливо и спокойно: „но вы, как лишенные прав, не можете жить в губернских городах“.—„Как это“, возмущаемся мы: „сам факт амнистии аннулирует наше безправие!“—„То вы будете иметь дело с полицией“, отвечает прокурор и уходит.

Нас обратно в камеры не пускают, а оставляют в надзирательском помещении под усиленной стражей. В контору для разсчета нас ведут каждого под конвоем трех надзирателей. А в конторе помощник Луговик издевается над нами: „Что, свободы захотели?!“ Нас так держат целый день. Уже вечереет, и нам еще не принесли обещанной нам одежды из тюремной инспекции. Отношение надзирателей к нам становится все более обостренным и вызывающим. Мы чувствуем, что не особенно охотно выпускают на волю. Около 10-ти часов вечера некоторые надзиратели, которые были с нами в хороших отношениях, передают нам, что к воротам тюрьмы подошли рабочие завода Гуревича, требуя нашего освобождения, но нас все таки не освобождают. Мы требуем к себе Синайского или кого-нибудь из его помощников, но никто не является. Только около часу ночи нас, переодетых в принесенную нам полуарестанскую одежду выпускают за ворота Херсонского централа.

На улице пустынно. Ни одного человека не видать. Несколько человек из нас пошли ночевать к знакомому, условившись встретиться завтра утром. Мы же, остальные, в арестанских полушубках бродили по окраинам города, ища места ночлега. Мещански-чиновнический городок Херсон спит спокойным мирным сном, как будто наступающие грандиозные события его даже не коснулись. Мы идем из гостинницы к гостиннице, но нам отказывают, т. к. они переполнены. Безцельно бродили мы по улицам, пока случайно встретивший нас какой-то чернорабочий, узнав, кто мы такие, пригласил к себе в маленькую комнатушку на окраине города, где мы и провели первую ночь на свободе. Да, незабвенная памятная ночь. „Наконець-то“, думал я тогда: „свершилось чудо. Этим чудом мы обязаны не политическим дельцам и думским краснобаям, а прямому действию народных масс—этому вечному источнику Революции и Свободы. Но нашей неотложной задачей является освобождение товарищей, оставшихся еще там за стенами тюрьмы“.

С нетерпением дождавшись разсвета, побежали мы в условленное место. Там нами всеми была принята и послана Керенскому, написанная мною и исправленная тов. Вериласом, телеграмма следующего содержания: „Господину министру юстиции Керенскому. Радость нашего освобождения омрачена тем, что наши товарищи, лучшие революционеры только потому, что они осуждены по уголовным статьям, остались еще в тюрьме, в когтях наших врагов. Мы требуем немедленного освобождения их, в противном случае мы освободим их силой“. Эту телеграмму мы подкрепили обращением к рабочим завода Гуревича и др. предприятий. В этот же день я и тов Верилас, тогда еще максималиствующий эс-эр, выступали в городской думе, требуя освобождения всех революционеров и уничтожения

всех преград, стоящих на пути подлинной социальной революции. На 2-й день, 6-го марта, была, по распоряжению Керенского, освобождена еще партия полит. каторжан, около 70 человек, в том числе и Борис Жадановский.

Мы все, освобожденные, поселились в гостиннице „Россия“, которая стала центром политической жизни Херсона. Вечером к нам в гостинницу пришла делегация от надзирателей Херсонского Централа просить у нас совета, как им быть, т. к. они не желают оставаться на службе, которую народ считает позорной. Мы им ответили, что это не наше дело, и что им следует обратиться в только что организовавшийся Совет Рабочих Депутатов. И знаменательно, что на 2-ой после этого день самоосвободилась поголовно вся Херсонская каторжная тюрьма!

„Да, рушится старое здание гнета и неволи“, думал я, сидя уже в вагоне поезда, уносившего меня на родину: „рвутся цепи. Но пользуясь доверчивостью, наивностью и распыленностью воли народа—этого большого ребенка, не создадут ли новые господа положения, вынесенные волной Революции, новое рабство? Не придумают ли они новых цепей? Да, если нужно было достаточно силы, воли и энергии, чтобы работать в подпольи в тяжелые годы реакции, если нужна была нравственная закаленность, чтобы перенести тюремное заключение и каторгу, то еще труднее устоять в вихре революций против соблазнов тихого мирного конституционализма, прикрытого революционной фразой. Еще больше нужно силы воли и энергии, чтоб сметь во время революции бороться за всю Свободу, за полное воплощение в жизни Идеала!“. А поезд мчится вперед. И вот, наконец, последняя остановка: ст. Каменец-Подольск. Я выхожу из вагона, направляюсь в город искать родных и знакомых, и первым бросается в глаза старое и мрачное здание, Каменец-Подольской тюрьмы. „Что день грядущий мне готовит?“ подумал я невольно, встретившись глазами с этим знакомым мне зданием.

Киев, Январь 1925.

Н. Дрикер.



В Варшавской охранке

Арест.

В первых числах декабря 1905 года, вечером, когда я, придя с работы, сидел в своей комнате, я услышал стук в дверь. На мой мой вопрос: „кто там?“ кто-то, шепелявя, ответил: „Свой“. Я открыл дверь, вошел молодой человек, поздоровался. Под мышкой он держал какой-то маленький сверточек. Сразу я его не узнал—в комнате был тусклый свет. Это был товарищ, приехавший из Белостока, рабочий, анархист, по кличке „Хоне Гарбер“. Первым моим вопросом было, знает ли он об арестах, которые были произведены в Варшаве.

Он ответил: „Знаю. Все знаю. Очень печально, что погибает столько людей“.

Беседуя, мы не могли предвидеть, какая судьба ждет нас в эту же ночь. Сидя вдвоем, мы перебирали кого знали, каждого в отдельности. На душе было страшно и грустно, было отчаяние от сознания своего бессилия. Все погибло. Столько людей, только что наладившаяся работа, типография, лаборатория, и что в конце концов? Мы вышли и долго бродили по улицам, погруженные в мысли о тех, что сидят там далеко за решетками и ждут смерти за великое дело. Снег хрустел под ногами, а мы все шли и незаметно для себя подошли к знаменитому месту, так называемой ратуше. Указывая на нее, я сказал:

— Вот здесь сидят наши товарищи.

Было холодно, падал густой снег, мы вернулись домой. Было около 11 часов вечера, когда хозяйка нам открыла дверь. Мы уснули, но вскоре нас разбудил стук в двери. Я услышал грубый, резкий голос: „Открывай двери“, не переставая рвать. Я понял, что пришла полиция. Дети, испуганные, кричали. Хозяйка, дрожа всем телом, пошла открывать двери.

Полиция с шумом ворвалась в комнату. Первым вопросом пристава был: „Кто хозяин квартиры?“ Сначала никто не ответил. В бешенстве, с горящими глазами, готовый нас тут же растерзать, он еще раз повторил: „Почему не отвечаете?“ Тогда хозяйка тихо сказала: Я“. Пристав, указывая на нашу сторону, спросил: „А это кто такие?“ Мы не ответили. Он подошел к товарищу, „Хоне“: „Ты кто, твоя фамилия?“ Хоне не ответил, и тогда рука пристава поднялась и с размаха ударила его по лицу. Товарищ продолжал молчать. Тогда хозяйка сказала, что не знает, кто он, но знает, что пришел попросить переночевать, так как только что приехал с вокзала. Этот ответ как будто удовлетворил пристава, он стал допрашивать товарища о его фамилии. Товарищ не отвечал. Пристав снова стал его бить,

но Хоне не издал ни звука. Спустя несколько минут он ломанным русским языком повторил слова, сказанные перед тем хозяйкой, но фамилии своей не назвал.

Начался обыск. Перерыли всю комнату, пробовали рвать пол, рылись шашками в печке, но ничего желанного для них не обнаружили. Наконец, из-под кровати вытащили чемоданчик, за который сразу все и ухватились. Не дожидаясь ключа, ломали замок. В чемоданчике нашли пачку анархистских прокламаций на еврейском и польском языках.

Пристав, прочитав „Варшавская группа анархистов-коммунистов", встал, вытянувшись как зверь, с сжатой в руке пачкой прокламаций, спросил: „Чей чемодан?" Я ответил: „Мой". „А-а-а. Анархист-коммунист!" закричал он и сильно ударил меня. Принялись снова искать. Пристав шепнул что-то на ухо околодочному, тот взял под козырек и удалился. Не прошло и десяти минут, как открылись двери, и в комнату вошел небольшого роста, с бритым лицом, по виду молодой человек, одетый в штатское платье. Как оказалось потом, это был начальник охранного отделения, известный своими пытками над политическими, о чем я буду говорить ниже.

Он посмотрел на нас обоих ехидно и сказал: „Анархисты-коммунисты!" Тем временем пристав не переставал рыться повсюду. Сверточек, который принес с собой тов. Хоне все время лежал на столе, покрытый детскими лохмотьями. Пристав натолкнулся на него и—трудно передать словами, какая радость изобразилась у него на лице. Думая, что он натолкнулся на что-нибудь взрывчатое, он не сразу решился взяться за него, но потом осторожно, с большой предусмотрительностью взял. Все переглянулись. Он стал развязывать, но там оказались лишь винтовочные пули и типографский шрифт. На вопрос, чья эта пачка, Хоне ответил: „Моя". Этим окончился обыск. Пристав, об'явив об этом, крикнул нам:—„Собирайтесь, забирайте свои вещи!" Но брать нам было нечего. Тут же имел место трагический момент. Разрешив вопрос о нас, пристав обратился к хозяйке и сказал ей: „Вы тоже собирайтесь!" Услышав это, дети соскочили с кровати, дрожа всем телом ухватились за свою мать, прижались к ней, стали кричать: „Мамочка, не уходи!" Пристав остановился и, посмотрев на эту картину, переглянулся с охранником: „Оставайтесь, но завтра приходите в участок".

Мы вышли. На дворе было полно солдат, городовых. Когда мы проходили сквозь их строй, как по узкому корридору, нас стали бить прикладами куда попало. Когда по дороге мой товарищ мне шепнул что-то, и я, не розобрав, что он мне сказал, переспросил его, снова посыпались на нас удары прикладов. И так мы дошли до участка.

В участке первый допрос наш был у пристава в кабинете. Первым вызвали моего товарища. Вскоре я услышал душу раздирающие крики; очевидно, его били. Потом позвали меня. Последовали обычные вопросы: фамилия, откуда родом. Когда дошло до вопроса, знаю ли я этого товарища, я ответил, что не знаю. Пристав встал (на столе у него лежала резиновая кишка), крикнул: „Как, вы его не знаете?" И стал бить меня резиновой кишкой. „Вы же с ним гуляли по городу? Признавайтесь, мы все знаем. Где ваш паспорт?" Тут я понял, в чем дело, и ничего ему не ответил. Видя мое упорство, он в бешенстве стал топать ногами. „Кто такой Мотьке Белостоцкий?" Я опять не ответил.

Мотьке Белостоцкий был мой товарищ, приехавший за несколько дней до ареста. Приехал он нелегально, без документа. Чтобы он мог ходить по улице, я дал ему свой паспорт. Оказалось, что его арестовали, и в виду этого пришли делать обыск у меня. Пристав, озверевший, не переставал допытываться у меня: „Так вы не признаетесь?“ Пользуясь передышкой между ударами, я нашел наконец ответ и сказал ему, что я свой паспорт потерял. „Да-а, потеряли?“ с насмешкой переспросил пристав и потом добавил: „Ничего, все разскажете“. И меня отвели.

Вышли на двор, а на дворе стояла знаменитая черная карета. На дворе было полно конной полиции. Нас посадили. Внутри кареты тоже было полно городовых; один из них сказал: „ни звука! а то...“

Было уже поздно, на улице редко кого можно было встретить. Кто-то шел спеша домой и, поглядывая на нашу карету, вероятно, думал: „Каких-то преступников везут“. Мы под‘ехали к зданию ратуши, мимо которой еще так недавно проходили, поминая тех товарищей, что там находились. Ворота распахнулись, как звериная пасть, поглощающая все на своем пути, и мы в‘ехали во двор. Когда мы вышли из кареты, перед нашими глазами стало огромное трехэтажное здание, окна которого были закрыты особыми ставнями—щитами.

Вышел начальник тюрьмы. Огромная фигура, безусое, в высшей степени грубое лицо. Держа в руках бумажку, смотрел на нас и вызывал по фамилии, а моему товарищу, который был без имени, сказал: „Здесь ты скажешь, кто ты такой“. Нас повели.

В конторе было несколько человек, но как только нас ввели, их сразу увели, очевидно, не желая, чтобы мы виделись с ними. Конторка была небольшая. Дежурный надзиратель нас записал и нас отправили по местам.

Когда я вошел в корридор, первое, что я почувствовал, это атмосферу царившей здесь мертвечины. Казалось, что не было здесь ни одной живой души, что замерло все. Безконечный корридор, окрашенный черною панелью, являлся мне огромной могилой, в которой похоронены десятки сотен людей. Мы остановились, и надзиратель тихо подошел к нам с ключами. На дверях я заметил № 3. Ключник поднял свою вязку ключей, открыл камеру, впустил меня. Не успел я и оглянуться, как дверь захлопнулась, и я очутился в темноте... Я хотел разглядеть, где я, но в темноте было трудно рассмотреть что-нибудь. Я инстинктивно вытянул руку и, нагнувшись, продвинулся вперед. Вдруг блеснул маленький свет, я остановился, посмотрел и увидел окно. Подошел ближе. Решетка, за решеткой большой щит и только сверху чуть-чуть виднелся кусочек неба и мигающие звездочки, как будто передававшие друг другу о судьбе тех, которые томятся здесь... Жутко стало. Грустные мысли мелькали в голове, и долго я стоял неподвижно и все смотрел на клочек далекой природы и любовался ею в ночной тишине через крохотное отверстие, которое палачи русской революции еще не догадались закрыть...

Понемногу глаз привык к темноте. Я стал дальше искать; в этой живой могиле только одну прелесть нашел... „парашу“. Больше ничего. Сильный холод овладевал мною, и, чтобы разогреться, я стал ходить взад и вперед и так ходил долго. Обрывки мыслей бродили в голове. Вспомнилась старуха, квартирная хозяйка с детьми—„неужели ее арестуют?“

Городские часы пробили четыре часа. Я устал и решил лечь.

Но где? Не долго думая—впереди еще не то будет—лег в угол, согнувшись, что называется в три погибели и собрался заснуть. Но увы! не пришлось: слышу, звенят ключи, кто-то тихо подходит к моей камере. Все ближе и ближе шаги, щелкнул замок, открылась дверь, вошел начальник и сказал, показывая пальцем вперед: „вставайте, собирайтесь!“ Я вышел в корридор. Там меня ожидали несколько надзирателей. Меня повели по корридору, по лестнице, наконец, я очутился в одиночном корридоре. Об этом я потом узнал у товарищей—анархистов, которые там сидели. Мертвая тишина, полумрак царил в корридоре, через который проходили сотни человеческих жизней, отдавая последние вздохи среди этих жутких, мрачных черных стен—сотни жизней, томившихся здесь за великое дело и гордо переносивших все пытки царских палачей.

В конце корридора стоял вытянувшись в струнку ключник. Он быстро подошел к двери, открыл, меня впустили в камеру, а сопровождавшие меня еще долго стояли, что-то шепча друг другу. Я очутился в несколько иной обстановке. В главном, то-есть, картина не изменилась—та же пустота, разница была только о одном—это свет: над дверьми, высоко, около самого потолка, было маленькое окошко, через которое падал свет керосиновой лампочки.

Первым моим желанием было лечь отдохнуть. В углу я заметил что-то скомканное, грязное, сразу было даже трудно разобрать, что это такое. Когда подошел ближе, я разглядел так называемый матрац. Когда я развернул его, от него понесло... Недолго думая, я повалился на этот грязный мешок. В голове была одна мысль: а дальше что будет? Завтра допрос; что спросят, что ответить?. С этими мыслями я крепко уснул.

На другой день.

Утром открылись двери, надзиратель меня разбудил и сказал: „оправляться“. Я вышел в корридор. Надежда, таившаяся во мне, что я увижу товарища, сразу исчезла. Я стал, не зная, в какую сторону итти. Надзиратель указал направление. Было еще очень рано, и утренний серый свет, бросая свои слабые лучи в полумрак длинного корридора, сливался со светом еще горевших на нем закопченных ламп.

Идя по корридору я слышал, несмотря на все строгости царившие здесь, выкрики через двери: „Когда привели?„ Не зная, кто спрашивает, я не отвечая продолжал итти вперед. Скоро я опять очутился в своей камере. В камере уже было настолько светло, что можно было видеть все. Первое, что я сделал—это измерил, сколько шагов имеет камера. Затем стал рассматривать стены, заметил на них надписи. Рассматривая эти надписи, вдруг услышал стук, сразу я не мог уловить, откуда он исходит. Стук повторился. Я подошел к тому месту и ответил. Сквозь стенки послышался как бы задавленный голос: „то-ва-рищ!“. Я стал снова искать откуда исходит голос, нагнулся и заметил маленькое отверстие. Я приложил ухо и снова услышал: „товарищ, откуда?“ Я ответил через отверстие, и у нас начался разговор. Я узнал, чт там сидит товарищ по кличке Янкель дер' Камашенмахер. Много говорить было нельзя, так как надзиратель мог заметить, и я лишился бы своего большого открытия. Стало немного веселее, я начал было ходить по камере взад и вперед, затянул знаменитую песню „Карманол“ и забыл, что я в тюрьме,

но скоро вновь это почувствовал: двери с большим треском открылись, и моя песня была прервана звериным окриком надзирателя: „замолчать! здесь вам не свобода, чтобы распевать крамольные песни, здесь тюрьма, и должны молчать“. Я ответил ему, что молчать я не намерен, за что, конечно, поплатился немедленно. Он захлопнул двери, а через несколько минут меня, „раба божьяго“, посадили в карцер. Но не долго мне пришлось там сидеть, привели какого-то более важного преступника, а меня посадили рядом, где сидел дежурный надзиратель.

Отсидев свое, я был помещен в другую камеру. Мне стало отчаянно досадно, что я лишился возможности использовать такое открытие из-за глупости. Я ведь мог многое узнать от товарища и быть предупрежденным, мог кое-что передать и ему. Новая моя камера была довольно большая. По одной стене шли нары, по которым бегали большие крысы. Окно выходило на двор как раз там, где собиралась публика, приходящая, кто на свидание, кто передать передачу, но увидеть что-нибудь можно было лишь с большой трудностью, через дырочку, кем-то проделанную в жестяном щите. Вечером я стал ходить по камере, вдруг слышу стук. Я остановился и стал прислушиваться. Подошел к стене, откуда раздался стук. Стук повторился, я ответил. Слышу тихий женский голос. Стенка была деревянная, так что легко было сделать так называемый „телефон“. В соседней камере, оказалось, сидела товарищ Стефа по нашему делу (фамилии не помню). Эта была одна из бойких революционерок, ее арестовали, но при ней ничего не нашли, однако охранка имела сведения, что на ея квартире была нелегальная анархическая типография. Стефа долго держалась и не говорила адреса своей квартиры, и выдержала все пытки. Я лег на нары, как будто для сна, и притулился к стенке лицом, чтобы на меня не падало подозрения со стороны надзирателя. Мы тихонько начали разговаривать, сразу мы как будто друг другу не доверяли, ибо мы друг друга в лицо не знали, и такая осторожность была понятна, так как часто случалось, что рядом с тобою сажали шпика для того, чтобы выпытать. Но когда разговорились, мало-по-малу вошли в доверие и узнали друг друга. И вот что она мне рассказала:

—Уже целую неделю меня все вызывают на допрос, издеваются надо мною, мучают меня всеми мерами, какие могут выдумать—рвали зубы, кололи булавками под ногтями, били, рвали за волосы, но самое гнусное это то, что предложили мне после всего этого палачи, чтобы я перешла на их сторону! И далее она разсказала, как издевались над всеми.

Наш разговор прервался, Стефа сидела в дежурной камере, где находился телефон дежурного надзирателя. Ее поместили было в камеру, где теперь находился я,—но в виду того, что здесь гуляли крысы, она отказалась войти в камеру, и за неимением одиночек, ее посадили в дежурную.

Больше с ней встречаться не пришлось, ее куда-то увели. Впоследствии я узнал, что она получила 4 года каторги.

Единственным моим желанием было увидеть кого-нибудь из своих товарищей. Сидело их в корридоре около 20-ти человек. В числе их сидели отец и сын, по фамилии Шапиро. Отец был учителем, сын гимназист в расцвете жизни. И хотя отец не был причастен к этому делу, он должен был видеть часто, как вызывали его сына и как приводили его избитого, истерзанного на допросах. Я стал

возле двери и смотрел в волчек, прислушиваясь к каждому шороху. Послышались шаги, кто-то медленно шагал, все приближаясь. Вижу—идет один. Это был товарищ Пипе токарь, хотелось крикнуть, но я удержался. Сзади него шел городовой и кто-то в штатском, шпик. У тов. Пипе голова была вся перевязана. Лицо желтое, как воск. Это не был тот молодой, бодрый с горячим темпераментом человек, который, когда говорил перед рабочими, звал их на борьбу и своими пламенными речами революционизировал массу. Его провели, но он не был последним. Через некоторое время провели еще одного, маленького ростом, Мойсея, токаря, по кличке „Литвак". За ним—еще одного, и так провели 12 человек. Вдруг подошли к моим дверям. Ключник открыл и каким-то таинственным голосом сказал: „выходи". Я спросил „куда"? Какой-то в штатском ответил: „на допрос". Пошли по той же самой лестнице, по которой меня привели на корридор.

Я шел с надеждой, что увижу кого-нибудь из общих камер, но-увы, когда нас вели на допрос, камеры, которые всегда были открыты, оказались закрытыми.

Идя по дороге, я кого-то увидел и повернул голову в его сторону. В ту же минуту я получил сильный удар в шею от моих провожатых. Хотел протестовать, но меня сразу оглушили другим ударом и крикнули: „молчать!, а то смотри! Подожди, это только начало". Я понял, что надвигается что-то грозное. Мне вспомнился разсказ тов. Стефы о ея переживаниях.

На очной ставке.

В связи с тем, что в гор. Варшаве в октябре была общая забастовка,—был произведен целый ряд экспроприаций и было брошено нескольо бомб, из которых одна была брошена в гостинницу „Бристоль", где буржуазия собиралась отпраздновать свои победы над рабочими гор. Варшавы. Бросили эту бомбу анархисты. Никто из товарищей во время этого акта не был арестован, но когда произошел провал, когда провалилась типография, лаборатория, когда было арестовано много людей, Варшавская охранка стала стараться всеми силами припаять все дела экспроприации, грабежи и убийства, кем бы в городе они не совершались, анархистам.

Меня ввели в небольшую комнату, и я увидел там всех тех, которых только что провели на допрос. Они были расставлены вдоль стены, а возле каждого стоял городовой, так что им нельзя было даже коснуться друг друга. Трудно передать словами выражение лиц тех, которых молодыми, здоровыми я знал на воле. Все они были похожи на мертвецов. Так издевалась Варшавская охранка над молодыми революционерами, казнь которых она заранее предрешила.

Посреди комнаты стоял знаменитый палач, начальник Варшавской охранки Грин. Подойдя к одному товарищу, он сказал: „Значит, вы бросили бомбу в Бристоль?". В это время в дверях показался какой-то пожилой, шикарно одетый мужчина и с каким-то недружелюбием на лице стал нас всех рассматривать: вероятно, это был один из пострадавших в Бристоле. На вопрос Грина тов. Фефер ответил: „Я уже вам неоднократно говорил. Да, я бросил бомбу в эту гостинницу и жалею только что она не достигла той цели, которой должна была достигнуть". Так Грин обошел всех, каждому в отдельности о чем-нибудь напоминая. Всем был ясен смысл этого

„свидания“. Посмотрев многозначительно на меня, он обратился к одному из сыщиков и сказал: „Отведите его назад, с ним потом поговорим“. Меня сейчас же увели.

На допросе.

Это было, если не ошибаюсь, под Рождество. Меня вызвали на допрос. Было уже поздно, часов 12, ибо в нижнем этаже тюрьмы, где расположены общие камеры, где обычно бывает шумно, все уже спали. Повели меня через двор. На противоположной стороне стояло здание охранки. Ночь была светлая, звездная. Свежий воздух повеял мне прямо в лицо, грудь поднялась и глубоко вздохнула, а глаза обратились чистому небу, к вольной природе,—отдохнуть в созерцании дали, отвращаясь от ужасов, которые царили вокруг...

Войдя в здание охранки, я прошел по корридору, по винтовой лестнице и не заметил как открылась дверь, и я очутился в маленькой комнате. Тут меня остановили и со мной остался сыщик. На стенах комнаты висело разное старинное оружие. Откуда взялось оно здесь, я не знаю. Вдруг я услышал крик. Сразу не понял, в чем дело, но потом догадался: в соседней комнате кого-то избивают. Оставшийся со мною шпик все время наблюдал за мною,—как на меня действует этот крик. Затихло. Через комнату провели товарища Моисея токаря, он повернул голову в мою сторону. Лицо было страшное. Одни глаза говорили о том, что переживал этот человек. Его толкнули: „чего оглядываешься?“.

Меня ввели в другую маленькую комнату с согнутым потолком с окном, врезывавшимся в крышу. Здесь можно было сделать с тобой, что хочешь: никто не слыхал тех душу раздирающих криков, которые раздавались здесь во время пыток.

В середине комнаты стоял письменный стол, за столом сидел начальник охранки Грин и его окружала целая орава шпиков.

„Садитесь“, обратился он ко мне, указывая на стул, стоящий против него. Возле меня стали два шпика: один с левой, другой с правой стороны. Первый вопрос мне был задан: К какой партии принадлежите?. Я ответил“ „ни к какой“. И тут же почувствовал два тумака в затылок, которые меня сразу оглушили. В глазах потемнело. Я почувствовал струю холодной воды. Вероятно меня приводили в чувство, а палач не переставая на меня смотреть, еще раз повторил: „Ну, а теперь скажете нам правду, или думаете еще упорствовать?“. Я ничего не ответил. На столе у него лежала целая куча фотографических карточек, и он начал показывать и спрашивать: „а вот этого знаменитого анархиста знаете?“ спросил он показывая карточку товарища Янкеля Камашенмахера (заготовщика), по фамилии Фефер. Это был один из видных анархистов Варшавы. Рабочий заготовщик, хороший оратор. Часто полемизировал с бундовцами, пользовался большим успехом среди еврейских рабочих. Помню я его и теперь, как будто стоит он перед моими глазами, несмотря на то, что его праха уж давно нет: небольшого роста, черные глаза, черные длинные волосы, полное жизни, энергии лицо, горящее выражением ненависти к буржуазии. Посмотрев на его карточку, я ответил: „не знаю“. Лицо палача скривилось. Стукнув кулаком о стол, он сказал: Вы все скажете, вы отсюда не уйдете—и тут же посыпались на меня тяжелые удары. Когда я падал со стула, меня подхватывали. Несколько часов продолжался этот допрос,

в течение которого мне все время показывали карточки, задавая вопрос, знаю ли я того или другого товарища. Наконец, Грин спросил меня, заходил ли я в кофейную, где собирались анархисты, по Кармелитской ул. № 3. В этой кофейне, действительно, собирались анархисты—с 1905 года, как только они появились в Варшаве. Последний вопрос был для меня самый страшный. Он спросил: „Откуда вы знаете Хоне Гарбера и Мотке Белостоцкого?“. От второго я совсем отрекся, а про первого сказал, что знаю случайно. Это еще больше его взбесило. Он выругался последними словами и, ударив меня, сказал: „все равно на тот свет пойдешь“. Этим кончился первый допрос.

Последний допрос.

Он произошел приблизительно в первых числах января 1906 г. Вечером, лежа на нарах, я прислушивался к беготне крыс, не дававших возможности уснуть. Спать мешали также и всевозможные паразиты, так как никого ко мне не допускали, и я в течении трех недель не менял белья.

Вдруг, затрещал звонок дежурной камеры. Я притаился и слышу, как надзиратель повторяет: „приготовьте всех из одиночек“. Я понял, что это касается нас, что снова нас поведут. Я поднялся и—первое, что делает заключенный,—подошел к дверям и стал прислушиваться. Слышу: открываются двери, начинают выпускать по одиночке, и товарищи, как тени исчезают, а за ними провожатые. В голове как будто молотком стучит кто-то: куда снова поведут? Неужели снова те же пытки? Не успел получить ответ на свой мысленный вопрос, как и мои двери открылись, и я вышел.

Шпики как будто знали, для чего нас вызывают. Вид у них был совсем особенный, не такой как прежде, в первый раз, когда они были озлобленные, озверелые. Теперь они были ленивые, спокойные, в их глазах можно было прочесть безразличие, они как будто не видели перед собой человека.

Исчезла даже та строгость, которая была в первое время, когда я шел по двору, и как будто они сами старались замедлить шаг, чтобы дать возможность нам подышать свежим воздухом.

Но это не была доброта. Это было своего рода утонченное издевательство над своей жертвой в последнюю минуту. Именно это было издевательство, ибо хотелось скорей узнать, в чем дело, и каждая лишняя минута отнимала много жизни.

Снова по той же винтовой лестнице, и снова те же двери, но уже не в той комнате, где происходила инквизиция. Когда я вошел в комнату, я вздрогнул, не веря тому, что увидел своими глазами. Я снова увидел всех товарищей. Они сидели на скамейках, по четыре человека на каждой, спиной друг к другу. Разговаривать было невозможно. Против нас стояли шпики и зорко следили за каждым нашим движением. Все сидели в гробовой тишине, и чего-то все ждали. Единственно, что можно было, чего эти палачи не могли запретить, это переглядываться между собой. И долго пришлось сидеть в таком состоянии, не двигаясь с места. Это обращалось, наконец, в физическую пытку. Кто-то из нас спросил, можно ли передать товарищу сахар. Охранители не сразу ответили на вопрос, а лишь спустя некоторое время разрешили передать, когда пойдем

по камерам. И здесь была злая ирония. Потом один товарищ спросил, скоро ли нас посадят в общую камеру. Сыщики между собою переглянулись и улыбнулись, а один сказал: „да, скоро вас переведут в „общую“, и не договорил. Так как мы там очень долго сидели, то они стали как будто привыкать к нам и даже стали шутить над нами, и шутки их были злые. Например, один сыщик сказал: „вот выйдут, так наверно бросят в нас бомбу“, а другой подхватил: „о—о, нет, они теперь уже не будут заниматьсь этими делами“. Никто не ответил ни слова на их наглости.

Телефон, не переставая, все время работал, и слышно было, как то губернатор, то другое какое-то учреждение все время передавали вопросы, и каждый раз начальник охранки заходил к нам, все расспрашивая. Было видно по всему, что решалась наша судьба. Это был заочный суд, а мы все сидели здесь, не подозревая, что нас судят, без всякой защиты. Генерал-губернатор Скалон, палач, ярый защитник царя и отечества, расстреливавший и вешавший направо и на лево, сидя в своем кабинете подписывал наш приговор. Не задумался он казнить вместе с другими и 15-ти летнего Шапиро. В время германской войны этот предатель продал Польшу...

Итак, мы все сидели в недоумении и не могли угадать, что здесь происходит. Каждый раз, как в комнату врывался знаменитый Грин, подтягивались окружавшие нас шпики, жалкие, ничтожные рабы, продажные шкуры. И надо было видеть, с какой энергией работал и действовал этот палач. Его фигура лихорадочно двигалась с места на место, его озверелые глаза шныряли с одного товарища на другого. Кто-то из наших спросил его: „долго-ли мы будем тут сидет?“, он коротко ответил: „а до тех пор, пока не кончится“. Вдруг все сразу засуетились, вытянулись, как будто кого-то ожидая. Открылись двери, и вошел высокий мужчина, одетый в длинное военное пальто, с пелериной сверху, в шапке с красным околышем, с длинной бородой. Кто это был, я не знаю до сегоднешнего дня. Он обошел всех, ничего не говоря, зашел в кабинет, и через несколько минут нас стали выводить.

Вся эта комедия, вернее трагедия, ибо она решала нашу судьбу, как потом оказалось, закончилась совсем неожиданным для нас образом: мы очутились в ожидальной конторке и безпрепятственно стояли все гуртом, а вокруг нас стояло несколько шпиков. Мы не понимали, для чего это сделано. В действительности же это было **последнее свидание.** Мы начали переговариваться между собою и задавать друг другу кое-какие вопросы, но очень осторожно, а шпики стояли в стороне и наблюдали за нами. Трудно передать словами этот момент, когда мы, раз'единенные, после такого режима, после такого ужаса, после всевозможных пыток, вдруг оказались снова все вместе, все знали, что что-то есть, но что именно, об'яснить себе не могли. Ко мне подошел один из товарищей, близкий на воле по работе и ремеслу, Мойше токарь, по кличке „Литвак“. Но встреча продолжалась недолго. Нас повели, и наверно никто из нас не подозревал, что над каждым висит петля, которую приготовил палач Скалон. В эту же ночь их всех перевели в Х-й павильон, а меня и Хоне Гарбер в Варшавскую главную гауптвахту, которая помещалась на Саксонской площади. Через две недели меня и тов. Хоне перевели в тот-же Х-й павильон, и только тогда и там я узнал, что всех повесили.

Так пали жертвой пыток, издевательств царских палачей молодые 16 человек и, может быть, не один задаст вопрос, „за что?“. Я беру смелость ответить за них: они отдали свою жизнь в борьбе, беспощадной, непримиримой борьбе с буржуазией. Эти молодые юноши, эти оторванные от своих станков молодые рабочие, отдали свою жизнь, чтобы проложить нам дорогу к великой русской революции.

К. Островский.



На каторгу.

„На каторгу без срока“, так сказали нам девятого декабря 1906 года в военном суде. И чрез несколько месяцев после приговора мы отправились в путь по этапу—в Сибирь.

Мы были полны сил, сохранили всю веру в правоту нашего дела, в правоту своих идей и стремлений. Мы знали, что мы в плену у наших врагов. Но мы не знали еще, что такое каторга и ее преддверие—этапный путь. Каждый из нас в своем воображении рисовал картину каторги по своему: одни олицетворяли ее в виде человека прикованного к своей тачке или гоняемого день и ночь на тяжкие работы; другим мерещились сцены из „записок из мэртвого дома“... Так мыслено готовились мы к темному будущему, в которое вступали. Но, едва выйдя на этап, мы поняли, что оно сулит нам страдания горшие, чем цепи и каторжный труд. Царское правительство умышленно не считалось с человеческой личностью плененного им революционера-каторжника. Оно, наоборот, стремилось унизить ее, растоптать, и издевалось над лишенными прав, подтверждая этим свои неограниченные права над ними.

Мы почувствовали это так резко при первом соприкосновении с конвоем, имевшим сопровождать нас в пути, при первом его грубом обращении с нами, что должны были энергично запротестовать... И были немедленно закованы в ручные кандалы.

В трехмесячном пути, с остановками чуть ли не во всех попутных пересыльных тюрьмах, мы в состоянии были полностью оценить систему, какую практиковало самодержавие в отношении революционеров, попавших ему в лапы, это была система подлого мщения связанным людям, система их истребления, уничтожения. И этап составлял неот'емлемую часть этой системы.

Конвой часто менялся. Между конвойными попадались и люди. „Людьми“ мы называли тот конвой, который позволял посмотреть в решетку окна вагона, вступал в разговор с нами, не придирался к нам, не избивал нас прикладами, превращая нас в неживых людей, не приковывал нас за малейшее движение к месту сидения, не мучил нас беспрерывными обысками, разбрасывая каждый раз наше „арестантское добро“.

Еще в дороге старые каторжане знакомили нас, молодых, с тем, что ждет нас по прибытии в Иркутск: в Иркутске нас, направляемых в Александровский централ, будет принимать известный тельминский конвой. Этот конвой считался самым худшим. Нам советовали не вступать с ним в разговоры, не называть себя политическими, кто был еврей—об этом умалчивать, а уголовные рекомендовали приобрести кресты тем из нас, кто таковых не имеет.

Жутко было слушать раскасы о зверствах этого конвоя и его косого фельдфебеля.

В Иркутск мы прибыли около 9-ти часов вечера. Первым явился к нам косой фельдфебель, толстый, как бочка, с лицом, налитым кровью—настоящий разбойник. Он ворвался в вагон с циничной руганью на устах: „по-ли-ти-ка.... это вам не Россия....“ Вслед за ним влетело человек пятнадцать конвойных с винтовками, и началась так называемая, приемка этапа. Это было нечто совершенно дикое. Вооруженные, сильные люди набросились на безоружных, слабых, закованных по рукам и ногам. „Коли его! мать...., бей жидов, таку....“ командовал человек-зверь.... Трещали кости, звенели цепи, слышались мучительные стоны. Немногие протестующие голоса потонули в аде ударов прикладами.... Нас приняли. Не люди, а тени сидели—с окровавленными лицами после жестокой расправы. Расставленные часовые вели меж собою оживленный разговор на тему, кто сколько раз и как дал по морде этой „политической сволочи“.—„Я его прикладом—раз, а он хоть бы крякнул....“—Стали смаковать, что будет завтра: „вот мы их погоним“.

Была сибирская декабрьская ночь. На дворе около 40°, в вагоне адский холод. Все мы голодны, физически избиты, морально ошеломлены. В то же время нервы напряжены до крайности. В других вагонах, как мы узнали потом, был тот же кошмар.

Ровно в пять часов утра нас разбудили дикое тюканье, свисты и крики—мы вспомнили сказочных разбойников в дремучих лесах—это нам предлагали выходить из вагонов. Мы не успели оглянуться, как буквально на прикладах нас выбросили из вагона. У вагонов часть товарищей была уже выстроена в ряды, куда и нас присоединили.

Начальник конвоя, офицер, сказал нам краткое слово: „слушайте, каторжная сволочь! малейшее движение в сторону или попытка сопротивления конвою—всех вас перебьем и переколем, как собак. Для нас совсем не обязательно доставить вас в тюрьму, довольно доставить нам ваши шкуры, чтобы получить по три рубля за каждую. Конвой, проверь винтовки!“ И мы двинулись в путь. Окола часа по улицам Иркутска партия шла без приключений. Конвой, окружив нас тесным кольцом, двигался молча. Но вот город оставлен позади. Пройден мост чрез скованную льдом Ангару. Все мы одеты в полушубки и бродни, закованы. Отвыкнув от ходьбы, мы стали отставать. Конвой стал тюкать и свистать, стал действовать прикладами, избивая всех без разбора. Под тюканьем, свистом, и боем нас гнали около десяти верст. Но вот начинается гора с довольно крутым под'емом. Мы скользим в своих броднях по оледенелой поверхности, не в состоянии подвигаться вперед. Но помня, что нас окружает дикая сила, мы выбиваемся из сил, стремясь взять гору во что-бы то ни стало. Полушубки сброшены. Над партией подымается облако пара, точно над стадом животных. На четвереньках партия—около двухсот человек—карабкается по горе. Напрягая последние силы я, наконец, взобрался на верх. Оглянувшись назад, я пришел в ужас: весь склон горы покрыт ползущими наверх людьми; озверелый конвой прикладами избивает всех; позади, на санках едет, конвойный офицер, фотографируя своим аппаратом эту картину дикости и произвола! Во мне кипели злоба и возмущение.

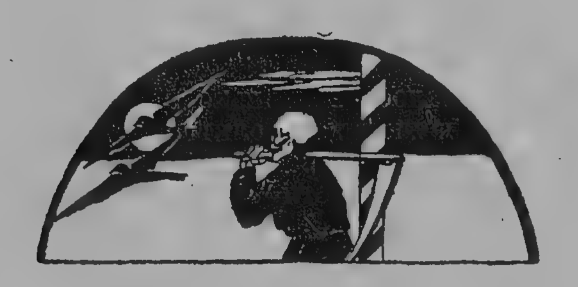
Поздней ночью добрались мы до ночного привала. Нас загнали в грязное, нетопленное помещение. Нам всем хотелось одного—поскорее лечь; после проделанных около 40 верст под прикладами мы были полумертвы от усталости. Молча разместились мы на грязном полу и на нарах. Нельзя сказать, что мы спали в эту ночь—не сон это был, а полубредовое состояние.

Свист и крики „выходи“ привели нас в сознание. И снова начался день, для нас—день новых мучений, день сплошных издевательств над нами наших палачей. Многие из товарищей не в состоянии были двинуться с места. Таких конвой брал за ножные цепи и волоком вытаскивал на улицу. Обратились мы к конвойному офицеру, стали его убеждать, что больные не в состоянии итти; предложили ему взять подводы за счет следуемых нам кормовых и положить на подводы всех больных. Нас всех очень удивило, когда начальник конвоя очень легко и скоро согласился на наше предложение. Как выяснилось потом, он согласился на него потому, что подводы он получил по наряду бесплатно, а деньги наши положил себе в карман. Больных положили на сани по десять—двенадцать человек вместе, и этап двинулся. Но не прошли мы и четырех верст, как все наши больные товарищи конвойными были сброшены с подвод и избиты прикладами. Подводы занял конвой. Нас же под прикладами продолжали гнать дальше. Падавших, которые больше не в состоянии были подняться, конвой пробовал штыками—колол их, и только после такого испытания их брали за руки и за ноги и, как полено, бросали в сани... Да, нас доставили в Александровскую Центральную Каторжную тюрьму. Но мне кажется, что если бы нас доставили на эшафот, мы и тогда были бы рады концу наших невыносимых мучений.

Начальник тюрьмы Савицкий отказался принять партию, говоря, что ведь большинство из нея завтра или через несколько дней будут в мертвецкой, и настаивал на составлении акта о состоянии партии.

Не знаю, был ли составлен акт, но мне передавали, что конвойный офицер получил повышение, а косой фельдфебель был убит одним из товарищей наших, вышедшим на поселение.

Равенко (Капшицер).



Баррикады в Александровской пересылке.

(Из воспоминаний, читанных „на субботке").

Шел 1903 год. Это был период накопления революционных сил, период наростания Революции. Студентческие „волнения„ в Киеве, Москве, Харькове; уличные „безпорядки" в Финляндии; выстрелы Балмашева, Качура, покушения Алларт на Трепова, Леккерта на фон-Валя; широкие повсеместные выступления рабочих масс на Урале, в Батуме, Баку, Красноярске; рабочие демонстрации в Ростове на-Дону, в Сормове, в Одессе (в театре); беспорядки на ст. Тихорецкой, развернувшаяся интенсивная работа подполья, усиливающаяся активность революционных партий; С.-Р—вырабатывали свою програму и тактику; для С.-Д.—это был период определения и укрепления позиций, отмеживания от „экономизма" и уточнения отношений к другим революционным партиям и тактикам,—в частности к единичному террору. Был расцвет „Искры", канун Второго с‘езда. Партия тогда стала „лицом к широким массам".

С другой стороны,—назначение Плеве министром внут. дел, расправы и расстрелы демонстрантов и стачечников, Зубатовщина, массовые ссылки (студенты ссылались чуть ли не целыми факультетами) и аресты, аресты, аресты...

Бодрое настроение „воли" отражалось и на нас, сидевших в знаменитой теперь Кишиневской тюрьме. Сидели тогда Л. И. Гольдман с женой, Корсунская, Элькин по делу Кишиневской типографии „Искра", „припаянные" жандармами к этому же делу Маня Школьник и Арон Шпайзман [1]). Юрий Матлахов[2]), Костя Бронтман, Яков Беленький, Н. К. Могилянский, Нина Глоба и другие. Многие из них уже и тогда имели довольно значительный революционный стаж и оказывали соответствующее революционизирующее влияние на нас, более молодых.

В тюрьме это сказывалось не только в указаниях и направлении наших занятий по изучению „политграмоты", но и в передаче нам некоторых революционных „традиций". Мы постоянно были на страже нашей революционной чести и достоинства при посягательствах на них наших тюремщиков. Это выливалось в ряд протестов, „волынок и буч", стоивших нам не мало дней карцера, карцерного положения и прочих скорпионов, имевшихся в распоряжении царских тюрещиков.

Наша борьба с администрацией получила даже некоторое отражение в тогдашней нелегальной литературе („Искра", „Революционная Россия", начала 1903 г.)

---

[1]) В Одессе и Кишиневе известен, как „Арончик Маляр", повешен за покушение на Черниговского губернатора.

[2]) Убит в Якутске в „Романовке" в 1904 году.

При таком приподнятом „боевом“ настроении, мы, я и три моих товарища по делу—рабочих,—должны были согласно „высочайшего повеления“ отправиться в ссылку в Восточную Сибирь на пять лет.

Благодаря завоеванным нами вольностям, к моменту отправки, в марте 1903 года, мы имели возможность собраться для проводов в одной из круглых башен тюрьмы. Проводы оставили яркий след в моей душе. Мы долго помнили бодрые речи—напутствия наших более старых товарищей Гольдмана, Шпайзмана, Могилянского. В ушах еще звучали сильные мотивы революционных песен, которыми нас провожали при выходе из тюрьмы оставшиеся там товарищи.

Смешен и жалок был лепет рыженького плюгавенького конвойного офицера на тему, что „вот мол—допрыгались“.

Наш революционный тонус еще повысился, когда мы встретились в этапе с другими товарищами, сначала одиночками, а потом и десятками.

За Волгой мы, до сего работавшие главным образом среди рабочих-ремесленников, впервые повстречали настоящих рабочих и крестьян. Нужно помнить, что в Кишиневе не было больших фабрик и заводов. Революционное значение этого города, сравнительно велико в истории ревдвижения того времени потому, что он был местом ссылки, нелегальных с‘ездов, местом, где организовывались „техники“ и проч.

У одного из моих попутчиков вырвалось признание, что этап оказал на него самое сильное агитационное действие, что только теперь он почувствовал веру в грядущую революцию, веру в свой класс.

В Самарской тюрьме к нам присоединились Мальвина Мрост и некоторые из рабочих, осужденных по делу Сормовской демонстрации—Ляпин, Никифоров, группа Тамбовских С.-Р. две сестры и брат Сладкопевцовы, два брата Бабякины, курсистка Андрюкова и еще некоторые.

Из Самары нас, политических, отправлялось уж так много, что нам отвели отдельный вагон, в котором даже „офицерское отделение“ было занято арестованными.

Некоторые из Самарских конвойных заявили себя шопотком „революционерами“, поэтому наше путешествие, почти до Красноярска, было довольно сносно, если не считать „спора“ за открытие окон, которые, не смотря на теплую весну „по инструкции“, еще не полагалось открывать.

„Спор“ этот, впрочем, стоил некоторым из нас ночи в наручниках. Время проходило в партийных дискуссиях, спорах по различным поводам, песнях, „впитывании“ невиданных доселе красот Урала и... довольно значительном чревоугодии. Наши спутницы ухитрились даже состряпать на керосинке сырные пасхи по особенно сложным „бабушкиным“ рецептам.

В Красноярской тюрьме мы застали и „постоянных сидельцев“ в лице т. т. Аркусской, Икова и других. Сидение в этой пересылке в то время было довольно сносно. В камере нас запирали только на ночь, а благодаря тому, что пересылка была в тюремной больнице (очень большая; 4 или 5 больших бараков), и хорошему отношению к нам врача Гуревича и „сестриц“—мы получали с воли все, что нам было нужно и, в первую очередь, понятно, газеты и письма.

В Красноярске мы впервые столкнулись с явлением, в недалеком будущем ставшим обычным для царских тюрем, еще больше воз-

будившим нашу ненависть к проклятому строю насилия и гнета: в конторе Красноярской тюрьмы работал палач-уголовный, бывший офицер, незадолго перед тем повесивший семь человек по какому-то уголовному делу. За неимением специального „кутка", администрация прятала его в конторе.

За время нашего сидения в Красноярске прибыло еще два этапа, прибавившие еще несколько политиков; А. Костюшко-Валюжинича[1]), Е. Жмуркину, Р. Рубинчик, Полушкина, Ракова и других, а также Варшавского рабочего Яна К-ского. Последний, что называется „впал в меланхолию" и норовил покончить с собой.

Этап должен был уйти, меня же партия постановила оставить в Красноярске для „охраны" и уговоров Яна, который почему-то ко мне относился с большей приязнью, чем к другим. Поручение, данное мне, было довольно сложно, ибо Ян не останавливался ни перед чем, чтобы всеми доступными ему средствами покончить с собой: пробовал повеситься на печной дверце, вряд ли могущей выдержать и 10-тифунтовую тяжесть, выпил иод, выписанный на дорогу для нашей партии, выпивал все капли, какие только находил в камере в наше отсутствие, с'ел даже „летучую мазь", которою покойный Антон Костюшко лечил свой воображаемый ревматизм, пытался даже покончить жизнь посредством единовременного принятия порции в 50 штук... крутых яиц. Мне пришлось выдержать дискуссию с А. Костюшко по поводу права вообще одного человека насильно охранять другому опостылевшую тому жизнь, а тем более, когда это относится к революционеру и т. д., т. д.

Вняв уговорам Антона К., я записался в очередной этап. А Ян после снятия охраны перестал покушаться на свою жизнь. В Александровской пересылке я застал всех товарищей по этапу.

Упомянутое мною выше политическое настроение общественных и пролетарских кругов России, ряд протестов в тюрьмах и на этапах, упорная борьба с тюремной администрацией, понятно, отразились и на порядках Александровской пересылки. Таким образом наш этап случайно попал в полосу затишья и сравнительного смягчения режима в отношении политических заключенных. Полоса эта, впрочем, закончилась очень скоро. (Началом „поворота" нужно считать „Романовку" [2]). Начальник пересылки, фамилию его не помню, повидимому, учел, что ему спокойнее будет не „волынить" с нами и жить на основах „конституции", которая заключалась в следующем: барак не закрывался от 6-ти ч. утра до 2-х час ночи; днем определенное число „политиков" свободно ходили из тюрьмы в село. Невозможность побега гарантировалась „честным словом" нашего старосты. Поверка происходила в часа два ночи, когда приходило два надзирателя и считали спавших, при чем, для более точного и удоб. подсчета, убедительно просили наших полунощников, ярых шахматистов или спорщиков, „прилечь на время поверки". Некоторые, согласившиеся дать честное слово непосредственно начальнику, жили вне тюрьмы [3]). Поэтому уже церемония „приемки этапа" была даже

---

[1]) Расстрелян ген. Рененкампфом в Чите, в 1906 году.

[2]) Многие из участников баррикад Александровской пересылки были участниками „Романовки" в Якутске.

[3]) Порядок был такой: староста давал „честное" слово за всех и в свою очередь требовал его от нас, принципиально приемлющих „соглашательство" с начальством; кроме обязательства вернуться в тюрьму, т. т. обязывались не приносить туда огнестрельного оружия и водки .. для уголовных.

для меня, более или менее привыкшего к „вольностям“, немного необычна: раскрывались и закрывались ворота, выходили и входили товарищи, свободно уходившие или подходившие к нам, „еще не принятым“.

Стояли почти летние дни раннего апреля. Из-за палей доносился оживленный шум голосов, песни. Нас сразу же охватила и увлекла атмосфера товарищеской приязни, общности, солидарности интересов.

Управлялись мы почти что, на коммунальных началах, особенно в отношении продовольствования или организации всяких связей и побегов.

Старостой был т. Петр Бронштейн-Гарви. Народу было больше пятидесяти человек. Среди них, кроме перечисленных выше, помню т.т.: Махайского-Вольского с его учениками Чуприной[1]) и Миткевичем, Мойсея Лурье (из группы „Рабочее знамя“), Верхотурова, Закона, Баумштейна, Р. Гольдберг, Сэра, Качерьяна, Киселева, Певзнер, Райхес.

До глубокой ночи во дворе тюрьмы было шумно, как в пчелином улье. У некоторых из товарищей тут открылись новые, неожиданные для них самих, способности. Махайский, например, специализировался по части поварской вообще и по части пельменей в частности; иные же, в том числе и я, дальше „старшего помощника младшего поваренка“ чинов не получали.

Получились глухие вести о Кишиневском погроме. Меня и некоторых других южан это, что называется, подстегнуло: пора было подумать о возвращении к работе...

Начались разговоры об этапе, выдали „полняки“, из которых прекрасная половина нашей партии быстро соорудила для себя довольно изящные дорожные „туалеты“. Сговаривались, кому с кем пойти; выделилась группа готовящихся к побегу. Всем было необходимо знать место ссылки, нужно было заранее возбудить ходатайство о назначении в тот или иной пункт[2]): куда назначены муж, брат или приятель; необходимо было заранее учесть, из какого пункта удобнее бежать. Таким образом, все были остро заинтересованы в том, чтобы пункты ссылки стали возможно раньше известны.

Приближался день отправки. Конвой „принял“ нас. На наши требования об‘явить места назначения, нам давались уклончивые ответы: „скажем“, „телеграфировали в Иркутск“ и т. п. Накануне отправки, возбужденная молчанием администрации публика решила действовать энергично. Выбрали делегатов—Махайского и Гарви и послали требовать об‘явления назначений.

Ответ конвойного офицера (кажется „знаменитый“ Сикорский, впоследствии убитый на паузках т. Минским за оскорбление политической ссыльной), сообщенный нам делегатами, в том смысле „что, дескать, как вы там себе не хотите, а завтра в шесть утра пойдете в этап, пусть не безпокоятся: каждого выпустят там, где нужно“—взвинтил всех. В результате срочного обсуждения было постановление большинства: забаррикадироваться. Предложение оказать пассивное сопротивление—не итти в этап, пока конвойные не вытащат на руках,—было отвергнуто потому, что в результате его, безусловно, началось бы активное сопротивление, ибо, нужно полагать, что не

---

[1]) Киевский рабочий, бежал из ссылки и, по нашим сведениям, погиб в самообороне, во время погрома 1905 года.

[2]) Просьбы ссыльных об изменении места ссылки на более далекое обычно охотно удовлетворялись.

многие с'умели бы сохранить спокойствие и пассивность в момент „вежливого“ вытаскивания на этап, как их самих, так и товарищей.

Решение было об'явлено и предложено всем, не желающим принимать участие в баррикадах, тихонько перебраться в другой барак. Ушло меньше десятка. После ночной поверки приступили к устройству баррикад. Дверь открывалась внутрь небольшого корридорчика, который, после того как двери были забиты гвоздями, заполнили деревянными кроватями. Получилось настолько крепкое сооружение, что мы невольно подумали, что трудновато будет разбаррикадироваться.

Стали ждать утра.

Сначала администрация была, повидимому, ошарашена, потом начались обычные в этих случаях угрозы: был отдан приказ конвойным взломать двери, „взять в штыки“, „расстрелять“. Мы приготовились. Но угрозы, не знаю, по чьему распоряжению, не были приведены в исполнение.

Наше продовольствование мы заранее обеспечили следующим образом: наняли двух поваров уголовных, столковались с поставщиком (у которого была довольно сибирская фамилия—Негодяев) о доставлении необходимых продуктов. Чай, обед и проч. подавались через окно, под окном поставили бочки с водой, из которых мы черпали воду ковшами на длинных ручках, или кружками на веревочках.

Администрация распорядилась убрать воду. Мы об'явили голодовку. Через несколько часов бочки с водой опять поставили под окна—голодовку прекратили.

Начались дни полные угроз, уговариваний, каждый день приезжало какое-нибудь „начальство“, которое неизменно начинало с запугивания, но сразу же, после надлежащего ответа с нашей стороны, а то и отказа от всяких переговоров, переходило на резоны.

Пустили в ход даже уголовных. На третий или четвертый день нашего сидения, явилась депутация от уголовных „Иванов“.

Уголовные указывали на то, что из-за нашего-де каприза, задерживают несколько сот человек накануне их освобождения, что это не хорошо со стороны нас „которые за народ“ и т. д. Мы ответили, что не мы их держим, а администрация, пусть от нее и требуют своевременной отправки этапа. Последовавшие затем угрозы со стороны „делегации“, понятно, меньше всего могли повлиять на наши решения.

Тянулись дни нервного напряжения, полные всяких возможностей. Правда, мы, что называется „держали фасон“. На угрозы „расстрелять“, мы глухо заявляли, что будем „соответствующе реагировать“, хотя вряд ли можно было думать о каком бы то ни было сопротивлении при наличии двух револьверов и одной сотни патронов,—нельзя же было считать оружием финские ножи.

Начальство продолжало наезжать: от начальника централа, тюремного инспектора, до вице-губернатора в сопровождении неизбежного товарища прокурора,—„все побывали тут“. Со стороны, нужно думать, что эти переговоры имели довольно странный вид: с одной стороны мундирные люди, вооруженные и штыком, и законом, с другой—кучка борющихся против этих, тогда казавшихся, да и бывших, почти „незыблемыми“.

В виду того, что постоянно норовили говорить все пятьдесят—была выбрана для переговоров специальная „тройка“: кажется, наш староста, Махайский и Костюшко. Эта тройка обычно разме-

щалась на стульях, на нарах (нары подходили вплотную к окну). Как сейчас вижу презрительно-насмешливо поблескивавшие из-за очков глаза Гарви, слышу—надменно требовательный голос Махайского и задорные реплики Костюшко.

Группа товарищей начала подумывать о побеге. Сначала остановились на подкопе, который должно было провести за пали—сажен 15-20. Но в виду чрезвычайной трудности законспирировать этот подкоп—по обеим сторонам барака был ряд больших, всегда открытых окон,—отсутствия возможности разместить вынутую из подкопа землю; боязни, что побег 5-10 наиболее активных товарищей внесет дезорганизацию в нашу среду и даст администрации повод расправиться с оставшимися,—пришлось подкоп прекратить.

Тогда сговорились с уголовным, нашим поваром, чтобы он достал ключ для замка от выходных забаррикадированных дверей, и открыл их ночью в заранее условленный час. Мы, человека три-четыре, решившие бежать, уже приготовились. Было около часу ночи, оделись, тихонько разобрали баррикады, взяли что возможно с собою. Смастерили веревочную лестницу и длинную палку, чтобы эту лестницу зацепить за пали. Но напрасно прождали до утра: „сблатованный" надзиратель в решительную минуту струхнул и отказался дать ключ.

Жизнь за баррикадами требовала организованности, регламента, который был в свое время выработан. Он относился, главным образом, к точному определению времени занятий, принятия пищи, сна. Но чтоб уже особенно строго придерживались этой „конституции", сказать нельзя.

Для того, чтобы наша публика не слишком нервничала, приходилось всячески разнообразить „время-провождение", а время, в виду неопределенности ответов администрации, тянулось убийственно медленно. О вечных спорах, дискуссиях, по поводу и без повода, говорить, понятно, не приходится, если принять во внимание наличие представителей всех революционных партий и течений того времени.

Раза два устраивались длительные — сутками на пролет — диспуты с Махайским и его учениками.

Развлеклись, как могли. Верхотуров и еще кто-то, сидя по турецки на нарах, наигривают на гитарах всякие польки и вальсы, и тут же, между нарами, вертятся пары до 2—3 часов ночи, к вящей досаде стариков, ригористов и брюзг, отстаивающих „регламент". Или под аккомпанимент тех же двух гитар, песни—далеко за полночь. Заядлые шахматисты по целым ночам сидят уставившись в доску, изредка нарушая молчание короткими возгласами: „шах" „беру" и т. д.

Особенно остро стоял для нас, говоря вежливо, санитарный вопрос. В передней пришлось устроить уборную, которую приходилось частенько чистить. Во избежание заострения этого вопроса, всяких обсуждений и дежурств, организовался „полк" из 8—10 человек, под начальством т. М. Лурье, получившаго высокий чин „полковника". Ежедневно „полк", перерядившись в „парадные мундиры"—летнюю арестантскую пару из наших „полняков", под звуки самим же „полком" напеваемого марша, при чем больше внимания обращалось на то, чтобы выходило погромче,—отправлялся на ассенизационные работы. Пришлось устроить весьма примитивную канализацию: через проделанную в двери дыру.

Кончалась вторая неделя. Нервничание усиливалось, споры переходили на „личности", начались заболевания. „Текущий момент" не

снимался с порядка дня. Меры предлагались всякие: от простой сдачи без всяких условий, до вооруженного восстания. Но приходилось так или иначе решать. Дальше ждать не было возможности, и вопрос был поставлен для окончательного решения. После долгих обсуждений, решили проделать брешь в стене, выпустить женщин и детей, поджечь пали, потом и самый барак...

Решение было принято. Среди невольно наступившей, вследствие серьезности момента, тишины, странно прозвучал вопрос одной из ссыльных Н-р: „А как же наши вещи"? и вслед за ним, не смотря на только что принятое решение, грозившие многим из нас смертью,— гомерический хохот над чудовищной несуразностью вопроса. Эта фраза стала для нашей публики впоследствии синонимом нелепости.

Администрации решено было, конечно, деталей этого решения не говорить. Вызванному начальнику заявили от имени всех, что если в течение 24 часов мы не получим сообщений о наших назначениях, и, если после этого этап не будет отправлен в течение 1—2 недель[1]) мы „примем самые решительные меры", не останавливаясь ни перед чем".

Испуганный начальник тут-же предложил нам составить телеграмму и заявил, что отправит ее немедленно.

Началось особенно тягостное ожидание, молчаливое, странно нарушаемое насильственными остротами некоторых записных остряков.

Ответ мы получили через восемь часов...

„Будет внеочередной этап, назначения выясняются, будут об'явлены до отправки".

Выходило—почти полная победа.

Разбаррикадировались, с облегчением высыпали на солнышко и весеннюю травку. Необходимо было поразмяться после двухнедельного сидения взаперти.

Понятно, что „конституция„ и взаимоотношения с администрацией изменились.

От дачи честного слова отказались, в виду твердой решимости некоторых не упускать случая и бежать при первой возможности. Характерно, что начальник пересылки настаивал, чтобы „было попрежнему". Но теперь мы ходили из тюрьмы под конвоем надзирателя.

Ну, и назначения же за то были об'явлены! Ближайший пункт —был Олекминск для одного; а всех остальных—распределили за полярный круг: Средне-Колымск, Верхоянск и самые дальние северные улусы Якутии.

Этими назначениями царские чиновники отомстили нам за безпокойство и наказали за строптивость.

Правда, некоторые из нас не воспользовались возможностью побывать так близко к северному полюсу. Через пару дней бежали Махайский и Миткевич, а во время этапа, из Верхоленска—бежали Бауmштейн и я.

Наши баррикады были одним из тех необычных способов борьбы и защиты своих прав перед тюремщиками какие приходилось практиковать политическим заключенным царской России.

Г. Кофф.

---

[1]) По росписанию следующий этап должен был отправиться только в июне или в июле, т. е. нас, в наказание, могли бы мариновать еще два с половиной месяца.

Варвара Владимировна Коновалова.

„А вы на земле проживете,
Как черви слепые живут:
Ни сказок про вас не расскажут,
Ни песен про вас не споют!“.

М. Горький.

Первое мое знакомство с Варей произошло в пору мрачной реакции, в конце 1908 года, в полосе отчуждения Восточно-Китайской жел. дороги. В это время она являлась одной из крупных фигур революционного движения на Дальнем Востоке.

Осенью 1908 года я очутился в г. Харбине, спасаясь от ареста, который мне предстоял за революционную пропаганду среди крестьян. Раздумывать долго не приходилось и, чтобы не попасть в лапы жандармов, я уехал в Манжурию, где, кстати, у меня жил брат и, следовательно, первое время я рассчитывал найти пристанище.

Никаких революционных знакомств в партийной среде у меня здесь не было. Я очутился в самом нелепом положении: без адресов, без явок и связей. Привыкнув к частому общению с товарищами, к кропотливой подпольной работе—я чувствовал себя в этом шумном торговом городе не лучше, чем Робинзон после кораблекрушения на острове. Но я не унывал. Ознакомившись хорошенько с городом, я с первых же дней направил всю свою энергию на поиски революционной братии.

За короткое время я успел разузнать, что в Харбине есть довольно сильные организации социал-демократов, социалистов-революционеров и даже анархистов. Последнее меня радовало особенно, так как я знал, что среди анархистов нередко вращаются мои единомышленники одиночки-максималисты.

Случайно я познакомился с бундовцем т. Юдовичем, проживавшим в одной квартире с анархисткой Бертой Гольдберг, одной из участниц местной группы. Он обещал меня познакомить с ней и затем, при дальнейшем разговоре, упомянул фамилию сестер Коноваловых Марии и Варвары: последняя была членом Харбинской группы анархистов-коммунистов и выделялась своей боевой революционной отвагой и ясным умом.

О Варе Коноваловой, как о незаурядной революционерке,—я слышал еще в первые дни моего пребывания в Харбине и, естественно, что теперь, узнав поближе кто она, я стал искать с ней встречи и знакомства. Но это было не так просто. Варя была занята уроками, заработками от которых помогала семье, а остальное время отдавала подпольной революционной деятельности.

Однажды в театре шла пьеса О. Мирбо „Жан Руль“ („Дурные пастыри“). Содержание пьесы привлекло в театр много народу; пришел и я с товарищем. Выйдя во время антракта в фойе, под све-

жим впечатлением слов „Мадлены“, призывающей рабочих на борьбу с фабрикантом и жандармами, я обратил внимание на высокую стройную девушку со стриженными волосами и с умным энергичным лицом. В темном платье с белым отложным воротником, она напоминала мне нагилистку 70-х годов и резко выделялась из всей публики. Вот ей бы сыграть „Мадлену“, подумал я, и невольно залюбовался этим энергичным несколько бледным лицом. Чувствовалось сразу, что это революционерка. На мой вопрос спутнику, кто она, товарищ сказал:

„Варя Коновалова. Сейчас я вас познакомлю“.

Я с нетерпением стал ждать момента, когда, наконец, я смогу познакомиться с интересным и нужным мне товарищем. Но радость была преждевременная. Знакомство не состоялось из-за того, что товарищ мой заметил каких-то подозрительных суб'ектов, которые, как ему казалось, наблюдали за нами. Он не рискнул подойти к Варе, ибо знал, что за ней учрежден негласный надзор; следовательно, для меня знакомство с ней могло иметь печальные последствия.

С чувством огромной досады и злости на шпионов ушел я из театра, а бледное лицо „нигилистки“ с горящими глазами, напоминавшее „Мадлену“ на митинге, не выходило из памяти в продолжении нескольких дней.

Постепенно я стал сближаться с анархистами и в качестве одиночки максималиста начал принимать некоторое участие в групповой работе. В это время энергично подготовлялся побег из тюрьмы анархистов Егорева-Касенкова, Панфилова, Абламского, Белошицкого и др., осужденных в каторжные работы. В связи с предполагаемым побегом, нужда в денежных средствах была огромная. Я предложил товарищам произвести экспроприацию конторы винокуреннаго завода миллионера Врублевскаго, куда я в качестве служащего имел доступ; товарищи согласились.

Через несколько дней после этого ко мне на завод явились двое товарищей „Жорж“ и Борис Ж-нов с паролем от Берты Гольдберг. Не теряя золотого времени, мы приступили к разработке плана экспроприации. Я подробно познакомил их с расположением всех заводских построек, с местоположением сторожевой будки, выходом, воротами и т. д. Во время обеденнаго перерыва я провел „Жоржа“ в контору, показал ему всю обстановку, указал, где кто сидит и где стоит несгораемый шкаф. Было составлено два плана: 1) проникнуть в контору в обеденное время и, при помощи подобранных ключей и отмычек или же взлома, забрать находящиеся там деньги, 2) сделать вооруженный налет на контору, разоружить сторожа, отнять ключи у кассира и таким путем завладеть содержимым кассы.

Остановились мы на первом плане, и на следующий день товарищ „Жорж“ прошел со мной незаметно в контору, имея при себе целую связку ключей и отмычек. Мы приступили быстро к работе, благо в конторе не было ни души. Больше получаса возились мы около кассы, отпирая ее ключами и отмычками, но все наши усилия не привели ни к чему: кассу нам открыть так и не удалось. Ушли мы, как говорят, не солоно хлебавши. А денег в кассе в этот день было 50.000.

Пришлось отбросить мысль и о вооруженном нападении. Чтобы совершить вооруженный налет на такое оживленное место, как контора Врублевского, необходимо было 10—12 боевиков, а надежных людей в это время у нас не доставало.

Между тем побег товарищей совершился, хотя он был не очень удачен: двое были арестованы тут же на месте, а один—месяца через 2, и только товарищ Абламский удачно скрылся.

Во всех этих предприятиях Коновалова принимала живое участие; однако, хотя мы оба вращались в одной среде, но все же встретиться нам не удавалось.

Как-то вечером, в марте 1909 г., ко мне пришел товарищ Юдович с поручением от Б. Гольдберг, которая в то время скрывалась в связи с происходящими в городе арестами. Пришедший просил меня от ее имени сходить к ней на квартиру и, под видом ее брата, унести из ее корзины несколько фунтов пироксилина, завернув его в лежащую в корзине одежду, чтобы не вызвать подозрений квартирных хозяев. В случае удачного исхода я должен был спрятать этот пироксилин в безопасном месте, а потом, когда обыски прекратятся, передать его Варе Коноваловой. Когда же я возразил товарищу, что я пироксилин возьму, но что вряд ли мне удобно будет передавать его Коноваловой, которая меня совершенно не знает: может выйти недоразумение,—он успокоил меня, что Варя обо мне уже знает и будет меня ждать. „Она большая любительница взрывчатых веществ“, добавил он, смеясь. Мы расстались.

В тот же вечер я отправился на указанную квартиру и, под видом брата, пришедшего взять платье для заболевшей Берты, унес благополучно пироксилин, спрятал его в своем чемодане, а затем через короткое время передал его Варе. Так состоялось наше знакомство.

С первой же встречи Варя произвела на меня самое хорошее впечатление. Живая, умная, развитая, много читавшая, она обладала твердой волей, смелостью и необычайной энергией. Высокая, стройная, несколько худощавая, она казалась старше своих 18 лет. Революцию она любила как-то по особенному, как одушевленную, реальную личность, и всякое дело служившее революции, было у нее на первом плане. Хорошо зная историю русского революционного движения, она признавала за ним первенствующее мировое значение. а политическому и экономическому террору отводила главную роль, Ее идеалом были Перовская и Коноплянникова. Быть такой самоотверженной и неустрашимой, как Перовская, смелой и спокойной даже на эшафоте, как Коноплянникова—таковы мечты Вари в этот период. Она всей душой рвалась к подвигу, искала дела и мучилась, если дело не скоро находилось.

Варвара Владимировна Коновалова родилась в начале 90-х годов в городе Кургане Тобольской губ. в семье рабочего-печника. Семья Коноваловых была проникнута народническими идеалами, и естественно, что и Варя, чуткая ко всему прекрасному, стала на этот путь. Еще будучи гимназисткой, она увлеклась революционным движением и в событиях 1905 года принимала деятельное участие. Она посещала рабочие митинги, ученические собрания, лекции, распространяла прокламации и затем вступила в ряды П. С.-Р. Уже в то время она стала сильно увлекаться террором и готовила себя к этой деятельности, а встреча с такими представителями террористической борьбы, как А. Измайлович, М. А. Спиридонова, Езерская и др., проходившими на каторгу через Курган, окончательно укрепили ее на этом пути.

Через несколько лет после этого Варя с восторгом рассказывала мне о своей встрече с каторжанками и о том огромном впечатлении, которое на нее произвела Мария Александровна.

В конце 1907 года Коноваловы в поисках заработка переехали в Харбин, и Варя, таким образом, очутилась на Дальнем Востоке и снова в революционных рядах. В это время она много читала, увлекаясь анархизмом. Вскоре она разошлась с П. С.-Р. и вступила в группу анархистов. Вульгарный парламентаризм, постоянная борьба за власть, централизм и примиренческая тактика социалистов, внушили ей недоверие к государственникам, и она ушла в стан людей, борющихся за анархию.

Живая, кипучая энтузиастка, полная молодости и революционных порывов, Варя никогда не сидела сложа руки. Где требовались смелость, отвага, мужество, там, где был нужен живой человек,— Варя всегда была первой. В уличных шествиях, в демонстрациях, при столкновениях с полицией—она всегда была в числе активных.

Пыталась ли полиция сорвать красное знамя в день первомайского митинга, кидались ли жандармы на венок, который Варя несла за гробом старого революционера Булыгина, чтобы сорвать с него красные ленты, она никогда добровольно не уступала шпикам и городовым. Хотя в конечном итоге, она с товарищами попадала в тюрьму, но все-таки знамя победоносно реяло на митинге до конца, и венок с красными лентами украшал могилу революционера.

Уже давно Коновалова находилась на плохом счету у клевретов правительства, подозревавших ее в целом ряде различных революционных актов. Но улики всегда были так ничтожны, что придраться серьезно не представлялось возможным. Арестуют, подержат месяца два и снова выпускают. И так протекала жизнь от ареста до ареста. Как только в городе происходило какое-либо событие революционного характера, так квартира Коноваловых подвергалась нашествию жандармов. Частенько любили они заглядывать туда, но никогда ничего не обнаруживали: Варя была опытной и осторожной, и дома нелегальщины не хранила.

Анастасия Васильевна, мать Вари, уже старушка, хотя к революционной партии не принадлежала, но до глубины своей светлой души была революционеркой и, чем могла, помогала нам: прятала шрифт, прокламации, бомбы, литературу, за что и сама чуть не подверглась аресту, а обыски бывали чуть ли не ежемесячно.

Совершилось нападение революционеров на артельщика с целью захвата денег—в результате у Коноваловых обыск.

Анархисты произвели экспроприацию в конторе Животовского—у Вари снова обыск и арест, длившийся месяцы.

Две неизвестных женщины положили адские машины в магазине Чурина—у Вари опять обыск.

При сопровожоении из суда в тюрьму из-под конвоя бежали анархисты—у Коноваловой вновь жандармы перерыли всю квартиру. И так без конца.

Месяца через полтора после моего знакомства с Варей, мы наняли в поселке „Старый Харбин“ дом и поселились там коммуной. В коммуну эту входили Варя и Маруся Коноваловы, Берта Богдановская, Б. Гольдберг, Роня Бланкова, я и др. Были мы тогда молоды, полны энергии, бодрости и революционного энтузиазма. Вокруг нашей коммуны постепенно стала группироваться революционная молодежь разных оттенков: соц.-рев., анархисты, максималисты. Всех нас об'единяла идея революционного террора, в сторону которого мы намеревались направить все свои силы и способности.

По соседству с нашей анархической коммуной в этом же поселке существовала коммуна с-р., у которых была оборудована тайная типография, где несколько позднее печаталась нелегальная газета „Досуги Заамурца“—орган военно-революционной организации. С этой коммунной, где между прочим, проживали Борис Николаев, Табаков и др., мы имели довольно близкую связь, сюда же часто заглядывала и Ада Лебедева, впоследствии казненная в Красноярске белогвардейцами.

31 августа 1909 года в нашей коммуне был произведен обыск, не помню который по счету. Нагрянула целая свора жандармских офицеров с известным по Дальнему Востоку ротмистром Де-Ливроном во главе (заведывал специально политическим сыском).

После пятичасового обыска нас: Коновалову Варю, меня, Богдановскую, Гольдберг и Ивана Степура арестовали и заключили в тюрьму. На этот раз Варя пробыла в тюрьме не долго и через 7 дней ее и меня освободили. В тюрьме остались только Богдановская и Гольдберг; их привлекли к создававшемуся тогда процессу анархистов-коммунистов.

Грустная и подавленная вышла Варя из тюрьмы. Там за решеткой остались лучшие друзья. Но раздумывать долго не приходилось, и Варя снова принимается за дело. Мы стали подбирать уцелевших товарищей, наладили связь с солдатами и с железнодорожными рабочими и в первую очередь задумали выпустить нелегальную газету. Работа, казалось, стала налаживаться, и нужно было видеть в эти дни Варю, чтобы понять, какой энергией она обладала и каким хорошим организатором она была.

„Как только мы немного окрепнем, нужно собирать оружие и приниматься за террор,—говорила она мне;—пусть они почувствуют, чорт возьми, что революцию не так легко победить!“

Между тем новая неудача подстерегала нас: 7 октября утром внезапно нагрянувшие жандармы захватили у меня кое-какие материалы, предназначавшиеся для печати в предполагаемой нами к изданию газетке, и меня арестовали.

После моего ареста активных товарищей осталось трое: Варя, Федя Коробейников и Роня Бланкова,—и отчасти Эсфир Богдановская. Несмотря на тяжесть условий и полное отсутствие деятельных людей, можно было наперед сказать, что дело не погибло, если в нем принимает участие Варя. И действительно, в это безвременье она проявила колоссальную энергию. Она сумела восстановить связь с военной организацией, где нашлось несколько деловых товарищей, из которых двое, Щавинский и Шварцензер, впоследствии играли видную роль в работе организации. Кроме того, к этому времени в Харбине появился довольно энергичный товарищ, поднадзорный Боков, а также и брат Вари Петр. С помощью этих лиц Варя и принялась за налаживание революционной работы. Появилось несколько прокламаций и даже небольшая газетка: „Досуги Заамурца“. Вообще в этот период военно-революционная организация проявила небывалую деятельность в смысле организации солдат и, нужно сказать, что душою и двигательной силой этой организации была именно Варя.

Среди военных она нашла широкое поле для своей деятельности и решила направить военную организацию на путь террористических действий. Летом 1910 года военная организация поставила на очередь вопрос о террористическом акте над комендантом города Харбина, полковником Дунтеном, отличавшимся необычайной жестокостью

по отношению к серой солдатской массе. Это был типичный немец, холодный и аккуратный. С отвислой нижней губой, с мертвым рыбьим взглядом, жестокий формалисть, он был ненавидим до глубины души солдатами, ктоторых он чуть не ежедневно сажал на гауптвахту десятками и отдавал под суд по самому ничтожному поводу. Партия С.-Р. еще в 1908 году вынесла ему смертный приговор, но намерения своего не выполнила из-за арестов, постигших ее в это время.

Естественно, что военная организация, стоящая на платформе терротистической борьбы, решила взять на себя начатое дело, чтобы довести его до конца. Привести в исполнение террористический акт над полковником Дунтеном взялась Варя Коновалова с товарищами. Будучи уверенными, что убийство коменданта уже чуть ли не совершившийся факт, военная организация выпустила особую прокламацию по этому поводу, где подробно изложила мотивы убийства Дунтена.

Покушение состоялось в ночь с 10 на 11 июня 1910 года. Вооружены браунингами Варя и Боков около 9 часов вечера поджидали коменданта в театре „Портсмут“, куда он частенько заглядывал не столько с целью смотреть пьесу, сколько за тем, чтобы захватить там врасплох солдат. Стрелять террористы в театре не стали, боясь ранить кого-либо из посторонних. Решили стрелять в него при выходе из театра. Выбрали удобное место для нападения и начали ждать. Около 12 часов ночи, когда спектакль окончился и публика хлынула из театра, Дунтен на велосипеде направился к своей квартире. Едва он поравнялся с террористами, как в него Варей и Боковым было произведено несколько выстрелов. Комендант, раненный в ногу, свалившись с велосипеда, поднял крик о помощи. Внезапно появившийся вблизи патруль, при виде котораго нападавшие стали удаляться от места покушения, открыл стрельбу и ранил в ногу Коновалову. Все же, несмотря на это нападавшие скрылись. Варя, хотя и сильно раненная, при помощи находившегося в резерве брата, коекак добралась до квартиры своих близких знакомых Калашниковых. Здесь она сделала себе перевязку и, переждав погоню, уехала к себе на квартиру, где находился уже и Боков. На утро супруги Калашниковы отправились к прокурору и подробно донесли ему обо всем виденном и слышанном.

Между тем Варя, не ожидавшая предательства со стороны близких знакомых, не приняла никаких мер предосторожности. Она была вполне уверена в безопасности квартиры, как вдруг нахлынувшая внезапно свора жандармов и полицейских навела ее на мысль о предательстве. Было слишком очевидно, что пришедшие определенно знали, куда и за кем пришли.

С усиленным конвоем и целым рядом предосторожностей, арестованных В. Коновалову, ее брата Петра и Бокова препроводили в тюрьму и рассадили по одиночкам, а на следующий день была арестована сестра Вари Маруся, никакого отношения к данному делу не имевшая.

В это время душой Харбинской прокуратуры был известный в полосе отчуждения товарищ прокурора В. С. Иванов. Тонкий и хитрый ищейка, жестокий палач, службист и карьерист, он, занимая должность только товарища прокурора, фактически играл большую роль, чем сам прокурор, который находился под его влиянием. Он очень негодовал на то, что в Харбине нельзя поставить пару висе-

лиц для террористов, ибо в Харбине в силу международного положения города и на основании Портсмутского договора—смертная казнь была отменена.

Не теряя, однако, надежды увидеть Варю на эшафоте, Иванов пытался передать дело во Владивосток, чтобы под каким-либо предлогом перевести обвиняемых туда, где свирепствовал в то время знаменитый палач-прокурор Шинкаренко—большой любитель смертной казни. Удайся эта затея г-ну Иванову, Коновалова и Боков были бы несомненно повешены. Но этому не суждено было сбыться. Говорят, что высшие сферы не согласились на предложение Харбинской прокуратуры и не разрешили передать дело Владивостокскому военному суду. Поступили они так, разумеется, не из симпатии или сочувствия к товарищам, а исключительно из-за боязни международных осложнений.

Не добившись предания военному суду Вари и ее товарищей, Иванов решил, во что бы то ни стало, создать громкий процесс террористов, ничем не брезгуя для достижения намеченной цели: он сам лично участвовал в обысках, угрожал неопытным свидетелям, запугивал малых детей на допросах или же старался подкупить их сладостями и игрушками, что, впрочем, ему редко удавалось, фабриковал подложные документы, подделывал чужие подписи и т. п.

Коновалова, вызванная на допрос показала, что принадлежала к группе анархистов-коммунистов и работала в качестве пропангадистки в военно-революционной организации, что после вынесения военной организацией смертного приговора коменданту города полковнику Дундену она добровольно предложила свои услуги военной организации в качестве террористки и, с сознанием необходимости и полезности этого дела, стреляла в коменданта. Жалеет лишь о том, что ей не удалось довести начатое дело до конца и надеется свою неудачу исправить при первом удобном случае. От всяких дальнейших разговоров и показаний она отказалась, добавив лишь, что арестованные с ней брат Петр и сестра Мария никакого отношения к данному делу не имеют.

Террористический акт на полковника Дунтена имел крупное общественное значение. Прежде всего он показал, что несмотря на ужаснейшие преследования революционеров и разгромы революционных организаций—революция еще жива, хотя и придавлена. Кроме того этот акт был весьма популярен среди солдатской массы. Он вызвал огромнейшее сочувствие и симпатию к террористам и явился благоприятной почвой для революционной пропаганды среди военных. Нужно сказать, что революционные кружки среди солдат в пределах Манчжурии процветали вплоть до революции 1917 года. Правительственные же агенты покушением на Дунтена были совершенно парализованы. Они буквально потеряли голову и не знали, что делать. Если до этого они были уверены, что крамола в Харбине уничтожена, и в городе нет ни одного более или менее активного революционера, —то теперь им стало казаться, что город переполнен террористами. Озлобленные жандармы и полиция стали хватать и тащить в тюрьму всех подозрительных, всех встречных и поперечных. Особенно большие аресты произошли среди железнодорожных рабочих. В продолжении 2—3 дней после акта в тюрьму было брошено до 250 человек подозрительных.

В тюрьму Варя пришла уже как старая знакомая. Многие из товарищей, сидевших здесь по нескольку лет, знали ее по прошлым

арестам, а уголовные арестанты прямо таки восторгались ею и высказывали ей всячески свои симпатии. Помню, когда однажды Варя проходила из женской тюрьмы через наш мужской двор, то уголовный каторжанин-кавказец, нарвав на прогулочном дворе целый букет цветов, прорвался сквозь цепь надзирателей и предподнес Варе букет.

—„Товарищ, примите это от меня“,—просто, но восторженно сказал он, нисколько не смущаясь криками и бранью надзирателей, гнавших его обратно. Варя приняла цветы, махнула ими по направлению наших окон и, поклонившись, скрылась радостная и веселая.

Она любила цветы и окружала себя ими. Помню, на воле, когда мы в свободное время уходили в Манчжурскую степь, пестреющую миридами цветов, она собирала целые букеты, плела венки и, казалось, опьянялась ими. Заберется бывало в степь и дозваться ее трудно оттуда: вся в цветах—только голова с подстриженными волосами, развивающимися по ветру, еле-еле виднеется в роскошных Манчжурских травах. Увлекалась Варя также стихами и пением. Сама она не пела, но любила слушать, как поют другие. Нередко бывало Варя полулежит на кушетке с папиросой в руке и вся превращается в слух, когда сестра ее Маруся поет некрасовскую:„ Еду ль я ночью по улице темной“...

Пела Маруся удивительно хорошо. Она обладала богатым голосом, любила пение, мечтала о сцене, стремилась в консерваторию... но мечты так и остались мечтами. А между тем Маруся обладала несомнено выдающимся голосом и при других условиях—могла бы быть гордостью сцены. Варя сильно мучилась оттого, что не в силах помочь сестре поступить в консерваторию.

У Вари была целая тетрадь своих стихотворений, которые она недурно писала. Вообще на ряду со служением революции—она не забывала и красоты. Она любила все красивое, изящное, хотя сама одевалась весьма скромно и даже пуритански.

Одно время Варя носилась с мыслью организации побега заключенных в Акатуе каторжанок Измайлович, Спиридоновой, Езерской и др. Она прямо бредила этим. Устроить грандиозную экспроприацию, добыть побольше денег, подобрать смелых добрых молодцов, организовать дружину, перебраться в Забайкалье поближе к Акатую, расселиться одиночками по ближайшим станицам и приискам, обзавестись лошадьми и, подготовившись, напасть внезапно на тюрьму, вывести всех, перевязав конвой, увести за Аргунь на Китайскую сторону и делу конец. Возможно, что идея эта была бы осуществлена, если бы не другие дела, отвлекшие Варю от этой мечты, и не приведшие ее самое за решетку.

Когда началось следствие по делу военной организации и покушения на коменданта города, прокуратура присоединила и меня к этому делу, чтобы как можно больше раздуть процесс. Коновалова пробыла в тюрьме не долго. 27 сентября она бежала из тюрьмы.

С мыслью о побеге Варя сжилась давно. Бежать она решила во что бы то ни стало, чтобы довести до конца покушение на Дунтена. Завязав сношения с волей, Варя начала готовиться к побегу при помощи анархиста Короткова. В назначенный день военная организация приняла все меры и поставила на всех постах в женской тюрьме своих солдат. Товарищ Коротков на извозчике стоял на углу улицы, поджидая беглянку. Во время послеобеденной прогулки Варя с приготовленной веревкой, вышла на прогулочный двор и

стала выжидать удобного момента. Все складывалось как нельзя более благоприятно в ее пользу. Часовой на вышке—свой, стрелять не станет, остается только отвлечь внимание надзирательницы, не вызывая в ней никакого подозрения. Дело за этим тоже не стало. Товарки Вари по камере Богдановская, Гольдберг и Ада Лебедева окружили надзирательницу и затеяли с ней какой то разговор, чрезвычайно ее заинтересовавший. Она так увлеклась болтовней арестанток, что и не заметила, как Варя перелезла через ограду. Только оставшаяся веревка-кошка, сиротливо повисшая на заборе, напоминала о том, что произошло. Лишь когда все успокоилось и беглянка была уже далеко, часовой произвел выстрел-другой, извещая о побеге. Смерив быстро глазами тюремный двор и не найдя Коноваловой, надзирательница подняла неистовый вопль и созвала тюремщиков.

А Коновалова в это время с тов. Коротковым под'езжала к конспиративной квартире, приготовленной заранее.

Несмотря на то, что на ноги была поднята вся полиция и шпионы, Варю найти не удалось. Тогда впервые в связи с побегом Коноваловой были пущены в ход собаки-сыщики. Им предварительно дали обнюхать вещи, принадлежащие Коноваловой, а затем пустили их по горячим следам. Не помогли и они. Коновалова как в воду канула.

Когда первая горячка шпионских поисков утихла, Варя снова принялась за дело. Она собирает вокруг себя уцелевших от разгрома товарищей и готовит новое террористическое покушение на полковника Дунтена. На все уговоры и просьбы родных уехать за границу, она ответила категорическим отказом:

— „До тех пор, пока товарищи в тюрьме и готовятся на каторгу, а Дунтен не убит—я не могу уехать, бросив неоконченное дело“.

И шаг за шагом она стала подготовлять новый грандиозный план террористического акта. Вторичное покушение должно было состояться вновь на 1-е января 1911 года в офицерском собрании, где полковник Дунтен должен был присутствовать при встрече нового года. Благодаря имеющимся связям, террористы легко могли проникнуть в помещение и покончить с Дунтеном во время пира, как это было с древним Валтасаром. Накануне покушения, т. е. 30 декабря, террористы решили осмотреть местность и составить план нападения и отступления.

Был тихий морозный вечер. Несмотря на ранний час (около 9 часов вечера), на улицах почти не было прохожих. Редко попадались проезжие на извозчиках, да торопливо мелькали одинокие прохожие, с завязанными марлей ртом и носом, с целью предохранения от свирепствовавшей в городе страшной гостьи—манчжурской чумы. В этот вечер Варя, в сопровождении двух товарищей—Щавинского и Шварцензера—ехали на разведку. Она была спокойна и полна радужных надежд, заранее уверенная в удачном исходе дела. Она твердо была убеждена, что на сей раз рука ей не изменит и пули попадут в намеченную цель. Когда рекогносцировка была кончена, и товарищи, распростившись с ней свернули в ближайший переулок, она поехала домой, погруженная в свои радостные думы.

Вот на углу двух улиц мелькнула подозрительная фигура, потом другая, и обе с любопытством наблюдают за ездоком.

Сыщики!—подумала Варя и решила живой не сдаваться... Нужно быть на чеку! Рука незаметно потянулась в карман за револьвером:

в порядке ли он? Мысль заработала быстро, быстро... Неужели теперь, накануне осуществления заветной мечты, почти у цели—все должно рухнуть? Неужели опять неудача?... И Варя вся превратилась в зоркость и слух. Но черные крылья смерти уже реяли над ней...

Ощупывая в порядке ли револьвер, она неосторожно задела курок... Раздался выстрел, выстрел роковой, смертельный... Пуля пробила правое легкое. Неужели смерть? Неужели конец?—мелькнуло в сознаньи.

На лбу выступил холодный пот, сердце забилось, как у подстреленной птицы, кровь из груди побежала алой струйкой... Холодно... страшно и темно, темно. Из груди рвется вздох глубокий, протяжный... Еще одно мгновение... Еще один вздох, последний, и светлая душа Вари улетела в Нирвану.

Слепой, несчастный случай прервал эту молодую, прекрасную, и так много обещавшую жизнь, полную жертвенных порывов и несбывшихся надежд. Ушла из жизни юная девушка, унесла с собой много недосказанных слов и песен недопетых!

Извозчик, напуганный выстрелом, поднял тревогу. К нему подбежал полицейский и увидел согнувшуюся фигуру высокого молодого человека без признаков жизни (Варя была одета в мужский костюм). На коленях у него лежал браунинг. Быстро направились к больнице, но было уже поздно: смерть успела наложить свою печать на лицо незнакомца.

Когда же врачи раздели убитого для медицинского вскрытия, то увидели, что перед ними женщина. Полиция сразу догадалась, что это Варя. Вызвали старуху мать, и она подтвердила, что это действительно ея дочь. На другой день утром эта печальная весть проникла к нам в тюрьму. От тюремного фельдшера, сочувствовавшего нам, мы узнали о смерти дорогого товарища, но подробности были неизвестны. Только через несколько дней брат Вари узнал на свидании от матери, что Варя застрелилась нечаянно при подготовке покушения на Дунтена.

В конверте через прокурора я послал несчастной матера стихотворение, написанное мной под впечатлением смерти Вари. Я привожу его здесь:

Под Новый Год в мертвецкой.

Уходит ночь последняя, немая
И вслед за ней уходит старый год.
Чу, кто-то там стучится у ворот,
И чья то речь послышалась живая.

Кто ты, пришлец? И дверью ты какою
Проник сюда, в обитель мертвецов,
Где смерть раскинула таинственный покров,
И все пропитано гниением и тьмою?

И сколько лиц, вчера еще живых—
Сегодня ты безмолвными встречал?
В борьбе за жизнь, за светлый идеал
Погибло много их: цветущих, молодых!

Обманчив ты! Загадочен твой взгляд
И счастье впереди не всем он предвещает:
Один живет и новый год встречает,
Другой убит и не придет назад...

Чу! Где-то стон мучительный, сердитый...
Чернеет кровь... и падает снежок...
А здесь мертвецкая... мерцает огонек
И освещает труп безвременно убитой.

Вот полночь бьет... и под немые своды
Нисходишь ты загадочный, живой;
Твой юный смех смутит ее покой,
Но не вернет он ей ни жизни, ни свободы...

Известие, что Коновалова до сих пор проживала в городе и продолжала активную революционную деятельность, подействовало на жандармов самым неприятным образом. Не находя ее в городе, несмотря на все свои поиски, они пришли к убеждению, что она скрылась за границу. Это убеждение укрепилось в них еще больше, когда из Японии вернулся солдат-дезертир: он явился с повинной к полковнику Дунтену и, желая заслужить прощенье, сообщил, что, проживая в Японии, он встретил анархистку Коновалову, которая якобы с бежавшим также из Харбинской тюрьмы анархистом Абламским намереваются вернуться в Россию с террористическими целями.

Спрошенный на следствии извозчик показал, что в день смерти, Коновалову сопровождали двое мужчин, которые слезли в Комендантском переулке. Правительство намотало, как говорится, на ус это известие и стало розыскивать спутников Коноваловой, подозревая в них приехавших из Японии террористов.

Поиски увенчались успехом. 7-го января 1911 года жандармы и охранники наткнулись на конспиративную квартиру, где проживали двое товарищей. Это были вышеупомянутые спутники Вари Коноваловой, сопровождавшие ее в роковой вечер 30 декабря. Полиция не сразу раскусила к кому она попала в гости. Начался обыск тщательный, подробный и долгий. Первым обыскали т. Я. Шварцензера, а затем Л. Щавинского, проживавшего после побега из гауптвахты под фамилией Быкова. Радости жандармов не было пределе, когда после тщательных поисков отыскали, наконец, нелегальщину и главное—прокламации, приготовленные на смерть полковника Дунтена. Было ясно, что это и есть спутники Коноваловой, приехавшие из Японии с террористическими целями.

Положение товарищей стало серьезным. Шварцензер несколько пал духом, но Щавинский остался спокоен и хладнокровен. Видел, что каторги не миновать, и решил выпутать товарища, заявив охранникам, что вся найденная нелегальщина принадлежит ему и что Шварцензер о ней ничего не знал. Некоторую надежду Щавинский питал на побег. Дело в том, что при нем был браунинг, которого жандармы каким-то образом не обнаружили при обыске. И вот, когда первая горячка прошла, и жандармы, опьяненные найденными трофеями, меньше стали обращать на иего внимание—Щавинский, незаметно для посторонних, достал из брюк револьвер и положил его в карман. Все время он напряженно следил за действиями жандармов и, уловив момент, шагнул к двери, казавшейся ему свободной. Но в это мгновение перед ним в дверях появился главный вдохновитель

политического розыска в пределах Манчжурии, жандармский офицер Де-Ливрон. Увидя идущего к двери Щавинского, и заподозрив его в намерении бежать, ротмистр остановился и раскрыл руки, чтобы преградить путь беглецу. Щавинский не растерялся. В один миг он выхватил из кармана „браунинг“ и, целясь в упор, выстрелил в жандарма. Пуля попала в висок и розоватый мозг обрызгал черную папаху жандарма. Де-Ливрон, как сноп, свалился на пол; он не произнес ни звука; смерть наступила мгновенно.

Но Щавинскому уйти не удалось. Жандармы набросились на него, смяли, свалили на пол, отняли оружие и связали веревками. К вечеру Щавинского с товарищем под усиленным конвоем перевезли в карете в тюрьму и посадили в одиночку. Их присоединили к нашему процессу, но потом Щавинского выделили из дела и судили военным судом, приговорив к бессрочной каторге.

Жуковский-Жук.

Светлой памяти
Николая Дмитриевича Шишмарева.

Около 20 лет тому назад, арестованный по делу Ржевской Организации Р. С. Д. Р. П., я встретился в Ржевской тюрьме с человеком, память о котором соединяется у меня с мыслью обо всем, что было безумно смелаго и героическаго в минувшей революционной борьбе с царизмом.

Н. Д. Шишмарев, по кличке—Галя, землячек мой—крестьянин, протянувший лямку рядового матроса и ставший потом революционером—террористом.

И теперь без усилий я воспроизвожу в памяти его образ: среднего роста (который в обиходе зовется „карандашным“), очень подвижной—„живой, как ртуть“; волосы цвета потемневших волокон льна, боковой пробор и задорный, как сам владелец его, петушок на макушке; добродушное с оттенком юмора выражение лица; большие, серые, светящиеся энергией и непоколебимой волей глаза, и нос южанина с горбиной.

Во всех наших протестах против тюремного режима Н. Д. являлся коноводом. Он был протестантом—бунтарем по натуре. И глядя на него в такие минуты, мы невольно поражались: откуда у такой неказистой на вид, щупленькой фигурки, берется такая смелость, ловкость, сила характера!

Он был весельчак и очень остроумен. В тюрьме он издавал газету, полную дружеских шаржей на эсдеков. Он был и певец. И под баркасами тюрьмы (конца 1905 г.) собирались рабочие Виндавки послушать его песни. Я сам, еще задолго до ареста, проходя в обеденное или после работы время мимо тюрьмы, не раз поддавался очарованию звуков революционной или народной песни, свободно лившейся из квадратного с железной решеткой тюремного окна. А очутившись в тюрьме, я быстро сдружился с ним, несмотря на нашу принадлежность к различным партиям, и полюбил его, да его и нельзя было не полюбить.

Время—только что оканчивался 1905 год—было тогда горячее: реакция начинала смелеть; С.-Р. переживала расцвет своего террора, мы, с.-д., находились под впечатлением постановлений протекших партийных с'ездов. Сколько вечеров провели мы в спорах, отстаивая каждый, в качестве представителя той или иной политической группировки, непогрешимость своих партий в вопросах программы и тактики! Каждая одиночка до хрипоты кричала через волчек, стараясь сбить с позиции своих противников. Мы крыли Николая Дмитриевича, не оставался и он у нас в долгу. Крайний аграрник, он доказывал необходимость непосредственно-индивидуальных революционных действий...

Случалось часто, что в моменты таких шумных споров, или когда Н. Д. надоест кричать в волчек и он взлезет на окно, откроет форточку, и в вечерние сумерки польются волнующие душу звуки его высокого тенорка, по докладу дежурного надзирателя—„Шишмарев бунтует опять"—появлялся Виноградов (начальник). В начале „по хорошему", „как человек" он предлагал Шишмареву не бунтовать тюрьмы и не собирать у стен тюрьмы слушателей революционных песен. Шишмарев не принимает предложения. Идет препирательство. С противоположного конца корридора, из одиночек „мертвецких" (мертвецкая и светлые карцера были тогда, в виду перегрузки тюрьмы подследственными политическими, приспособлены под камеры) раздается голос т. Кривошеина: „Шишмарев, пошли его к черту!" „Агаша" (кличка Виноградова) все больше свирепеет. Н. Д. забирает тенорком все выше и выше. Наконец, выведенный из себя угрозами Виноградова, он соскакивает с окна, и с кружкой воды старается через волчек плеснуть Виноградову в физиономию. Начальство решает укротить бунтаря. Гремят засовы дверей, и свора надзирателей под водительством Виноградова врывается в камеру. А тюрьма, услышав шум заглушенной борьбы, свидетельствующий, что Н. Д. тащат из камеры в карцер, товарищеской поддержкой старается не допустить этого: летят в окно парашки, каблуки сапог несут несмолкаемые удары в двери камер, ломаются нары. Протест заражает и уголовных, которым Шишмарев не раз оказывал услуги (он недавал в обиду тюремную „шпану"). И очень часто Н. Д. выходил победителем в борьбе с тюремным режимом...

В ржевской тюрьме Н. Д. пробыл примерно до мая месяца 1906 года, когда был отправлен в ссылку в Нарым. Как рассказано товарищами в московских сборниках полит. каторжан, он бежал из ссылки, примкнул к Боевой Организации Юга—П. С.-Р., принимал участие в партийных экспроприациях и террористических актах на Трепова и Каульбарса, был арестован в Одессе и в августе 1909 г. сослан в Сибирь; встал на защиту товарищей, томившихся в Тобольской каторжной тюрьме и, мстя за издевательства, которые несли полит. заключенные от начальника тюрьмы Могилева,—убил последнего. Приговоренный к смертной казни, он покончил жизнь самоубийством [1]).

Так кончилась трагически жизнь этого добродушного крестьянина—матроса, весельчака—товарища, высоко одаренного самородка, революционера-террориста, свою сознательную жизнь проведшего в борьбе, грудь грудью с врагами.

Н. Торопченов.

---

[1]) В очерке о Русской группе Р. С. Д. Р. П. в сборнике „Из эпохи борьбы с царизмом" (Киевск. издат.) мною по дошедшим до меня неверным сведениям было сказано, что Шишмарев погиб во Владимирской тюрьме по пути в Сибирь.

Краткие биографические сведения о казненном Иосифе Яковлевиче Дивиденко.

В 1868 году Иосиф Давиденко поступил в 1-й класс Киевской 2-ой гимназии. В 1874 году, перейдя в 7-й класс, он в самом начале учебнаго года познакомился с развивавшимся тогда в России революционным движением, которое сразу всецело овладело им. Не окончив 7-го класса, он бросил в 1875 году гимназию и начал работу в Киевских революционных кружках молодежи. В 1876 году он вместе с другими пятью лицами произвел опыт хождения в „народ", опыт, окончившийся не благополучно: 5 человек были арестованы, а он, захватив с собой имевшуюся с ними нелегальную литературу, успел бежать.

В Киев он возвратился при том убеждении, что практиковавшийся тогда способ пропаганды в деревне не возможен, и что должны быть выработаны иные методы этой пропаганды. Вскоре он познакомился с кружком Ткачевцев и, как натура быстро и сильно увлекающаяся, примкнул к ним и начал сам усиленно заниматься политической экономией, историей и философией и вести пропаганду среди учащихся средних и высших учебных заведений, не признавая открыто своей принадлежности к кружку Ткачевцев.

В это время к нему обратился бывший его товарищ детства, некий Горинович, с просьбой помочь ему уклониться от суда. Этот Горинович был арестован по делу 193 [1]), но был отпущен на поруки своих родных. Конечно, Давиденко при помощи своих связей эту помощь оказал ему: он достал для Гориновича адреса, собрал ему на дорогу деньги и выпроводил его пароходом из Киева вниз по Днепру. Горинович через некоторое время очутился в Одессе, и там, на бульваре, ночью был оглушен несколькими ударами кастета по голове. Лица, расправившиеся с ними, как со шпионом, думали, что он убит, и, чтобы его не узнали, облили его серной кислотой. Горинович оказался, однако, живым, и, облитый кислотой, поднял страшный крик. На крик сбежались полицейские, а производившие расправу с Гориновичем, пользуясь темнотой скрылись.

Горинович, конечно, показал, что из Киева его выпроводил Давиденко. Давиденко был по этому делу арестован в Киеве посажен в Лук'яновскую тюрьму. Он с'умел доказать, что выпроводил Горино-

---

¹) Н. Горинович, как предатель, был освобожден от всякого наказания. Ред.

²) За покушение на убийство Гориновича были повещены в 1879 г. в Одессе Малинка, В. Майданский и И. Дробязгин. За это же дело Л. Дейч, выданный Германией, был приговорен к 13 г. каторжных работ. Ред.

вича по его же просьбе—помочь ему уклониться от суда[1]), а не с целью направить его в руки убийц, тем более, что адреса ему были даны не на Одессу. Таким образом Давиденко реабилитировал себя от обвинения в участии в покушении на жизнь Гориновича, но зато сам выявил свою неблагонадежность в политическом отношении. Неблагонадежность эту в скором времени подтвердил Паначини, принадлежавший к кружку Ткачевцев, арестованный во время перевозки тюка нелегальной литературы, полученной из-за границы.

В 1877 году были арестованы Стефанович, Дейч и Бохановский по Чичиринскому делу. В то время, пока полиция розыскивала их квартиру, из этой квартиры был увезен типографский станок, шрифт, бумага, типографская краска и все остальное, что относилось к деятельности упомянутых лиц. Давиденко принимал участие в чистке этой квартиры и, как человек неблагонадежный политически, вынужден был перейти на нелегальное положенре, когда Киевское жандармское Управление начало всех политически неблагонадежных лиц пред'являть свидетелям, видевшим лиц, очищавших эту квартиру.

В Киеве очень многие знали Давиденко, а потому он перебрался для продолжения революционной работы в Одессу. В 1878 г. в Одессе началась подготовка к террористической деятельности. Хотя Давиденко еще не был террористом, но по своей живой, деятельной натуре он принимал участие в этой работе. Во время этих подготовительных работ он был арестован и предан суду. Суд признал его виновным в принадлежности к террористической организации и приговорил его к повешинию. Приговор этот был приведен в исполнение 8[3]) августа 1879 г. Вместе с ним были казнены известный Димитрий Лизогуб, которого Степняк называет святым революции, и Чубаров.

В. Чер.

---

[1]) Суд над Лизогубом, Чубаровым, Виттенбергом, Логовенко, Давиденко, Попко, Кутитонской, Левандовской, Богомолец и др. по обвинению в покушении на Александра II в Николаеве и других террористических актах происходил в Одессе 25 июля 1879 г., 8 августа приговор был конформирован Тотлебеном. Чубаров, Лизогуб и Давиденко повешены в Одессе 10 августа, а Виттенберг и Логовенко в Николаеве 11 августа. Остальные осуждены на каторгу и на поселение. Ред.

Новые книги.

Проф. М. Н. Гернет. „В тюрьме. Очерки тюремной психологии". С иллюстрациями. Изд. „Жизнь и Право" Москва, 1925 г. Цена 1 р. 80 к.

„Под психологией тюремного заключения", говорит проф. Гернет: „мы понимаем характеристику переживаний, связанных со всеми особенностями тюремнаго режима".

Это определенме представляется нам не совсем точным, не совсем ясным, особенно если сопоставить его с подзаголовком книги „очерки тюремной психологии". К области психологии заключенного могут относиться переживания, которые по своему характеру, по своей силе не отличаются от переживаний, вызываемых такими же причинами на воле. К тюремной же психологии могут быть отнесены, по нашему мнению, только переживания, которые под влиянием тюремной жизни гипертрофируются, атрофируются, вообще извращаются, и переживания, самое проявление которых вызывается тюрьмой. Таким образом, понятие „тюремная психология" по об'ему охватываемых им явлений уже, чем включающее его понятие „психология тюремного заключения".

„Мы ставим своей задачей, говорит автор, рассмотрение с психологической стороны всех сторон тюремной жизни". И лица, сами не жившие в „Мертвом Доме" (Достоевский), в „Мире Отверженных" (Мельшин-Якубович), на „Кладбище живых" (Турати), и не имевшие возможности или случая ознакомиться с миром „заживо погребенных", с миром, лишенным не только земных благ, но в высокой степени и небесных, воздуха и света, с большим интересом прочтут эти очерки, для составления которых автор пользовался русской и иностранной литературой, надписями на стенах камер и на страницах книг из тюремных библиотек, анкетными данными, личными впечатлениями при посещениях тюрем и др. В популярной форме автор знакомит с вопросом восприятия времени в тюрьме, с характеристикой общения в тюрьме, тоски, развлечений, половой жизни, мысли, чтения в тюрьме, переписки и свиданий.

Если прежде „тюрьмоведение, изобретая „тюремную архитектуру", совершенствуя „тюремную гигиену", уделяло свое внимание системе ватерклозетных крышек в одиночных камерах и как будто забывало, что в этих камерах сидят люди не только с физиологическими отправлениями их организма, но вместе с тем и думающие и чувствующие"; если прежде о психологии заключенного вспоминали только тогда, „когда надо ущемить его, заставить его почувствовать еще

сильнее, чем он чувствует всегда, тяжесть карательного режима", то в современных условиях, особенно в революционной России, тюрьма с ея обитателями не могла остаться в стороне от общего прогресса, от общего переустройства жизни, и глава „Журналистика и журналы в тюрьме" и конец главы „Тюремные развлечения" рельефно показывают тот сдвиг, который произошел и в „тюрьмоведении" и в самой жизни заключенных.

Затронутые автором вопросы имеют огромное значение в жизни заключенных, только проф. Гернет, по нашему мнению, иногда относит к тюремной психологии такие переживания, которые не свойственны исключительно тюрьме. Возьмем вопрос о восприятии времени. „Все, что тюрьма берет у арестанта и что она дает ему, связано со временем: оно несет ему волнения и лишения, оно же кладет ему конец тюремным переживаниям и дает ему свободу".

Это, конечно, верно. Но ведь и на воле не живут вне времени, и на воле жизнь со всеми ея переживаниями связана со временем. Что касается способов считать время, то они зависят и от об'ективных условий тюремного режима и от индивидуальных особенностей арестанта. Понятно, при отсутствии для арестанта возможности определять время обычными способами, он считает его по палям или по посещениям священника. Это не особая форма восприятия времени, это не особая форма отношения к течению времени, а доступная в данных условиях возможность определять или считать время. Лабазник доброго старого времени, производя крупную торговлю, отмечал все свои обороты, ставя углем на стенах лабаза палочки, и таким-то вот способом вел свою бухгалтерию.

Не характерно также для тюремной психологии угнетенное состояние при невыясненности положения, при неопределенности срока предстоящего тюремного заключения. Оно настолько не характерно, что Александров, на которого проф. Гернет особенно часто ссылается в вопросе о времени, сравнивает переживания при незнании срока и своей судьбы с переживаниями, „когда приходится долгое время находиться в напряженном состоянии, например, перед вызовом к экзамену, в приемной врача и т. п. Эти часы ожидания утомляют хуже всякой работы".

„Наблюдение за течением времени в тюрьме раскрывает", говорит проф. Гернет: „одну психологическую черту, которой не знает свободная жизнь. Это стремление делить время. Оно представляется ему как бы в виде более или менее длинной дороги, которую он должен пройти", и далее: „Разделенное на части время представляется короче, меньше, потому что более короткая единица измерения протекает быстро. Вот почему годы лишения свободы переводятся на месяцы, недели и дни".

Прежде всего в данном случае имеет значение не только мера времени, но и количество единиц, при чем отношение заключенного к будущему времени и его же отношение к прошедшему будут различны. Приятнее сознавать, что еще осталось сидеть в тюрьме **два** года, чем **двадцать четыре** месяца или чем **семьсот тридцать** дней. Зато знать, что уже прошло **триста шестьдесят пять** дней, приятнее, чем **один** год.

Затем, мысль, что стремление делить время—тюремная психологическая черта, которая чужда свободной жизни, не верна. Человека, не имеющего дров, теплого платья и живущего в сырой квартире (беру пример не гипотетический), очень гнетет ожидание на-

ступления зимы, и он мечтает, как бы дотянуть до рождества, а тогда-де не страшно: не далеко де масляницы, а от масляницы до пасхи совсем близко, да и морозов больших не будет, да и дни увеличатся. Больше того, нам думается, что в свободной жизни со всем ея разнообразием, со всеми ея осложнениями чаще приходится прибегать к такому делению предстоящего длинного и тяжелого пути жизни на какие-то промежутки, чем в однообразной тюремной жизни.

На ряду с этим не упоминается о переживаниях, правда, не ярких, так сказать, будничных, и потому, может быть, в воспоминаниях сидевших в тюрьмах о них не говорится, например, об угнетенном состоянии духа, вытекающем из юридическаго, правового или, вернее сказать, безправного положения заключенного. Если представим себе двух лиц с приблизительно одинаковыми физическими и духовными особенностями, посаженных в одну и ту же камеру на один и тот же срок, одинаково осужденных на безделье, но один из них—каторжанин, другой—административный. Разница в их настроениях будет большая.

Было бы интересно в очерках тюремной психологии дать сведения о специфических привычках, вырабатывавшихся в результате долгой тюремной жизни, например, привычка и по выходе на волю закрывать двери в комнатах. Вид открытой двери в комнате, как говорит один товарищ, возбуждал в нем и по выходе из тюрьмы чувство какой-то неловкости, производил на него странное, даже неприятное впечатление, и, чтобы освободиться от этого ощущения, он должен был закрывать двери.

Книга „В тюрьме“ может иметь значение не только, как книга для чтения: она может побудить и других взяться за разработку вопросов тюремной психологии. Особенно были бы ценны работы политических, воспоминания которых дают в настоящее время огромный материал для характеристики тюремной жизни, хотя задача эта представляется нам не легкой.

Дело в том, что в воспоминаниях о тюрьме разсказывается о режиме тюрьмы, о протестах, об условиях, в которых приходилось „сидеть“, о развлечениях и т. п. Душевным переживаниям уделяется сравнительно мало места. Сильные чувства, яркие мысли иногда теснятся в душу, волнуют, мучают, не находя себе выхода. Эти чувства тем глубже переживаются, что делиться ими или вовсе невозможно, не с кем, или, если сидят и не в одиночке, не всегда и не всеми переживаниями можно делиться со своими товарищами, для этого ведь требуется большая душевная близость. Переносить эти переживания в самом себе часто тем мучительнее, что в тюрьме по понятным причинам в несравненно большей степени, чем на воле, занимаются самоанализом, копанием в своей душе. Ведение записок в таких случаях много бы облегчало настроение заключенного. Временами в этом чувствовалась сильнейшая потребность. Но при этом нужна была уверенность, что эти записки не попадут в руки посторонних. Сдерживала в таких случаях не только боязнь поделиться своими задушевнейшими переживаниями с тюремщиками и жандармами, но и сознание, что в некоторых случаях это было бы недопустимо. Проф. Гернет, говоря о скудости тюремных впечатлений, приводит в пример дневник М. В. Новорусского и его усилия хоть что-нибудь занести в свой дневник. Да, в тюрьме, даже и не в Шлиссельбурге, трудно вести интересный и разнообразный дневник.

Другое дело писать тогда, когда в этом чувствовалось настоятельное желание, особенно в острые моменты каких-нибудь переживаний. Проходят годы, десятилетия. Мучительнейшие чувства и думы, когда-то так волновавшие, забыты. А если какие и сохранились в памяти, то чрезвычайно трудно восстановить картину возникновения и развития какого-нибудь чувства, восстановить так, как оно на самом деле происходило, а не как оно может представляться долгие годы спустя.

Л. Берман.

Хроника.

Краткий отчет о деятельности Киевского Отделения Всесоюзного О-ва Политкаторжан.

Отчетный период начался летом, в момент отдыха и отпусков, что, значительно отразилось на темпе работы первых месяцев. Но эти минусы были возмещены осенью, когда в виду истечения годичных полномочий совета, был избран новый совет и новые комиссии.

При организации и выборе новых комиссий придерживались принципа: меньше комиссий—максимум нагрузки. Почему были выбраны только три комиссии:

1) Редакционно-издательская.

2) Клубная

и 3) Финансово-хозяйственная,

между которыми были распределены обязанности всех прежних комиссий.

Редакционно-издательская комиссия прежде всего занялась собиранием и обработкой материалов для 3-го Сборника. Затем решено расширить издательскую деятельность, привлечь к сотрудничеству товарищей из других городов и отделений и в дальнейшем вести работу более планомерно. Резко изменена сама постановка дела издательства. Статьи будут авторам оплачиваться. Суммы, вырученные от продажи первых двух сборников пошли частично на общие нужды отделения: на содержание служащих, на сельхоз и пр. Отныне же суммы, которые будут выручены от продажи изданий Отделения, пойдут исключительно на издательское дело. Открыт отдельный текущий счет, распоряжаться которым может только Редакционно-Издательская Комиссия.

Клубная комиссия проявила за отчетный период довольно интенсивную деятельность по устройству различных лекций, докладов и вечеров воспоминаний.

12 сентября 1924 г. доклады т. Фроленко на тему: „Убийство царя Александра 2-го“ и „Побег Дейча, Стефановича и Бохановского из Киевской лукьяновской тюрьмы“ с последующим докладом т. Скарбека „Процесс Бориса Савинкова и его политическое значение“, 15 декабря лекция Н. Ростова „Конец Николая 2-го“, 2 платных вечера-концерта в „Клубе Совработников“ и в „Клубе 1-го мая“, до 60 вечеров воспоминаний в чужих клубах, которые по месяцам распределяются следующим образом: Сентябрь 1924 г.—3 вечера. Октябрь—7 веч. Ноябрь—8. Декабрь—36 веч. Январь—февраль—15 вечеров. Общее количество слушателей на этих вечерах достигает от 25 до 30 тысяч человек, в том числе, что следует выделить особенно, за неделю „Мопра“ 4—12 декабря проведено свыше 30 вечеров с аудиторией до 15 тыс. человек. Наши воспоминания возбуждают большой интерес, и на них большой спрос, несмотря на то, что спецов-докладчиков у нас нет.

Наша культработа захватила и периферию: в нашем сельхозе „Еленовка“ было проведено несколько вечеров, организована хата-читальня и т. п.

К сожалению, почти ничего не сделано в отношении развития и увеличения числа экспонатов „Уголка каторга и ссылка“ при нашем клубе.

При клубе учреждено ежедневное дежурство членов Об-ва. На обязанности дежурных—давать раз'яснения посетителям клуба, в большинстве рабочим и молодежи. Последнее время при клубе О-ва организованы курсы „Ликбеза“, на которых члены н/ Об-ва обучали грамоте несколько групп рабочих и работниц. Организованы драматический кружок и хор.

К нашей общественно-культурной работе нужно отнести и культшефство над №-ским полком. В 7-ую годовщину Октябрьской революции туда были командированы 2 наших товарища, проведших ряд докладов. К сожалению, отдаленность от нас нашего подшефного полка и загруженность работой членов О-ва мешает более частым поездкам и докладам.

С конца января 1925 г. введены в нашем клубе „Субботки" (два раза в месяц), вечера, на которых товарищи делятся своими воспоминаниями.

Эти доклады стенографируются и передаются в Редакционно-Издательскую Комиссию; наиболее интересные обрабатываются для сборника.

Наша **финансово-хоз.** деятельность менее удачна. Все наши предприятия вследствие об'ективных условий не ладились и приносили убыток, на который уходили все наши случайные поступления. Как сельхоз „Еленовка", так и попытка взять в аренду кино, ничего кроме минусов нашей кассе не дали. Поэтому и помощь нашим больным и безработным была очень недостаточна. Правда, в настоящий момент у нас не больше двух-трех человек безработных, но устройство на работу стоило больших хлопот. Не совсем ладно обстоит квартирное устройство наших каторжан.

Теперь наши усилия направлены к организации какой-нибудь трудовой артели (предполагается переплетная), дома-коммуны и кассы взаимопомощи.

Вероятно, ввиду того, что соответствующие организации идут нам на встречу, сознавая право наших товарищей на отдых и лечение,—удастся устроить нескольких из наших больных в домах отдыха и санаториях.

С организационной стороны мы связаны только с Москвой, ибо Укр. Бюро существовало только в теории, не созвав ни разу пленума и ничем почти не помогая нам. Вновь организовавшиеся ячейки—в Житомире и Полтаве—вошли с нами в контакт.

Из посланных для перерегистрации 70 анкет 40 уже утверждено.

С организационной стороны нужно отметить введенный, можно сказать, самой жизнью еще один институт: „собрание активных работников", которое пришлось собрать в качестве чрезвычайной меры для повышения темпа работы.

Всего проведено собраний и заседаний:

Общих	3	Ред.-Изд. Комиссии	5
Совета	27	Клубной „	15
Президиума	12	Фин.-Хоз „	7

Состав Совета.

1. Дубровский Я. Я.—стар.
2. Ланде И. Ю.—зам. стар.
2. Кофф Г. М. „ „
4. Генш М Г.—казначей.
5. Сухомлин В. И.—чл. сов.
6. Берман Л. Л. „ „
7. Берзин К. П. „ „

Состав Редакционно-Издат. Комиссии.

1. Берман Л. Л.—председ.
2. Лагунов Б. И.—секрет.
3. Кофф Г. М.—чл. комис.
4. Ланде И. Ю. „ „
5. Цукров С. С. „ „
6. Дрикер Н. В. „ „

Состав Клубной Комиссии.

1. Голубков М. И.—предс.
2. Пивоваров П. Ю.—секр.
3. Вайнер Л. И.—чл. ком.
4. Генш М. Г. „ „
5. Голод М. Н. „ „
6 Айзенберг Е. Г. „ „

Состав Финансово-Хоз. Комиссии.

1. Генш М. Г.—председ.
2. Дубровский Я. Я.
3. Верле Г. Г.
4. Никитчук А. С.
5. Михно С. Г.
6. Крижевский М. Г.
7. Капшицер А. Н,—секр.

—

Миттельмон.
Секретарь Киевск. отдел.

СПИСОК

членов Киевского отделения О-ва Политкаторжан и сс-поселенцев, прошедших перерегистрацию.

№№ по пор.	Фамилия, имя и отчество.	Адрес:	№№ телеф. Дом.	Служ.
1	Айзенберг	Кузнечная 10, кв. 24. . . .	—	—
2	Бочарникова С. А.	Никол.-Ботанич. 4, кв. 2 . .	—	—
3	Берман Л. Л.	Жилянская 86, кв. 3. . . .	—	—
4	Бодров А. П.	Кузнечная 39, кв. 11	—	—
5	Вайнер Л. А.	Институтская 18	—	—
6	Варелас Герасим	Чернигов, Губком	—	—
7	Воронин Н. М.	Чернигов	—	—
8	Волконский А. В.	Печерск, Инвалидн. город. .	—	—
9	Голод Н. Н.	Ул. Борохова 30, кв. 13 . .	—	—
10	Григорьева Н. А.	Керосинная 12, кв. 2 . . .	—	—
11	Дубровский Я. Я.	Пушкинская 6, кв. 19 . . .	11—15	22—41
12	Дрикер Н. Д.	Михайловская 24, кв. 28 . .	—	—
13	Ицковский Е. И.	—	—	—
14	Игошин М. Г.	Фундуклеевская 74, 12. . .	—	—
15	Иващенко Я. П.	—	—	—
16	Кофф Г. М.	Ул. Пятакова 34, кв. 4 . .	23—08	30—18
17	Козел М. Л.	Москва	—	—
18	Карнач А. П.	Лютеранская 6, кв. 11 . . .	—	—
19	Крижевский М. Л.	—	—	—
20	Лагунов Б. И.	Пушкинская 21, кв. 10. . .	—	11—37
21	Ланде И. Ю.	Меринговская 10.	—	—
22	Марковский И. Д.	—	—	—
23	Миттельман М. С.	Тарасовская 9, кв. 29 . . .	—	6—65
24	Мрозовский А. С.	М. Борисполь	—	—
25	Магат А. М.	Михайловск. пер. 9, кв. 9 .	—	—
26	Науменко Л. М.	Чернигов	—	—
27	Никитчук А. С.	Кузнечная 83	—	—
28	Островский К. Е.	Александровская 45, кв. 28.	—	18—42
29	Пивоваров Т. Ю.	Ул. Гершуни 45, кв. 33 . .	—	—
30	Поляк С. А.	Бибиковский бул. 5, кв. 43.	—	60—20
31	Постышев П. П.	Первый дом Советов. . . .	Коммут.	д. Совет.
32	Свежинский А. М.	Институтская 18	—	—
33	Славкин	—	—	—

№№ по пор.	Фамилия, имя и отчество.	Адрес:	№№ телеф. Дом.	Служ.
34	Сухомлин И. В.	Керосинная 12, кв. 2	—	—
35	Семени П. А.	Кузнечная 120, кв. 12 . . .	—	—
36	Сливинский С. Д.	Караваевская 33, кв. 2. . . .	—	—
37	Тесленко-Приходько П. В. .	Ул. Толстого 7	—	18—61
38	Тернавцев В. С.	Еленовка	—	—
39	Тернавцев К. С.	Еленовка	—	—
40	Цукров С. С.	Меринговская 10, кв. 20 . .	—	—
41	Швайдецкий В. И.	Безаковская 15, кв. 15. . .	—	—
42	Шульженко М. С.	Владимирская 22	—	—
43	Янковский К. Л.	Самсоновская 16, кв. 10 . .	—	—

Члены Киевского отделения, не прошедшие перерегистрацию.

1	Блиман М. Н.	Пушкинская 19, кв. 22 . . .	23—28	16—43
2	Берзин К. П.	Еленовка	—	—
3	Верле Г. Г.	—	—	—
4	Голубков М. И.	Пушкинская 35, кв. 5 . . .	22—60	4—60
5	Генш М. Г.	Михайловская 17	—	—
6	Гриншпун Я. М.	Винница.	—	—
7	Иванов И. С.	Пушкинская.	—	—
8	Кусьмирская С. И.	Дехтяревская 9	—	—
9	Кучменко-Парамонова . . .	—	—	—
10	Кацнельсон Л. А.	Умань.	—	—
11	Коцура К. Д.	Ул. Короленко 46, кв. 4 . .	—	—
12	Капшицер А. Н.	Левашевская 30, кв. 9. . .	—	—
13	Михно С. Г.	Меринговская 10, кв. 20 . .	—	—
14	Малайдаха Г. С.	Село Брага, Под. губ. . . .	—	1—60
15	Моспан С. Е.	Нестеровская 17, кв. 9. . .	—	—
16	Мякота И. Я.	Белая-Церковь.	—	—
17	Сакова А. Н.	Ул. Короленко 33, кв. 3 . .	—	—
18	Скулский А. Н.	Крещат. пер., гост. Полония.	—	—
19	Слабовский А. Г.	Меринговская 10, кв. 20 . .	—	—
20	Темкин Н. М.	Меринговская 3, кв. 3 . . .	Коммут.	Д. Совет
21	Ушацкая П. М.	Первый дом Советов. . . .	—	—
22	Ушацкий И. И.	Первый дом Советов. . . .	—	—
23	Шульженко Н. А.	Владимирская 22	—	—

В других отделениях.

Полтавское отделение. Организовано в конце 1924 г. Работу развивают по обычной программе: лекции-воспоминания о каторге и ссылке, помощь Мопру; забота о помещении для культработы и общежития, устройство своих безработных, изыскание необходимых средств. Президиум состоит из т.т. Дьяченко С. (председ.) и Верблоиского (секр.).

Волынское отделение. Организовано в октябре 1923 г. Временное бюро выделено в составе т.т. Юрьева, Смоличанского и Сашина, потом также Ронский, Пивник, Борзяков. Деятельность в том-же направлении: воспоминания о пережитом, собирание материалов по истории революционного движения, помощь своим безработным и инвалидам. В отличие от других отделений „взяли на учет" административных, также ставят себе задачей вернуть к работе т т. ушедших почему-либо от политической жизни.

Одесское отделение. На днях выйдет из печати первый Одесский сборник под названием „Кандальный звон".

В. Украинск. Бюро О-ва.

Сборник уже был в наборе, когда получили сообщение от Харьковского Всеукраинского Бюро О-ва Политкаторжан и сс-поселенцев о созыве на 22 марта 1925 г. Всеукраинской конференции нашего Общества.

Повестка конференции:

1) Доклад о международном положении.
2) Доклад Центрального Совета О-ва.
3) Отчет Всеукраинского Бюро.
4) Доклад Ц. К. Мопр.
5) Организационные вопросы.
6) Выборы Совета и Ревкомиссии.

КАССОВЫЙ

Совета Ощества Политкаторжан Киевского

ПРИХОД

Остаток на 1-ое октября . .	55	63		
Поступило: Возврат. ссуд	460	45		
„ От. вечеров и концерт.	982	33		
„ „ продажи сборн. . .	422	20		
„ „ членск. взносов . .	186	96		
„ „ Кинотеатра	780	92		
„ „ разн. поступлений .	1142	79		
„ „ член. значков . . .	9	50		
„ „ разн. займов	806	89		
			4847	67

Председатель финанс.

Секретарь:

ОТЧЕТ

Отд. с 1 октября 1924 г. по 1 февраля 1925 г.

РАСХОД

Уплочено разных долгов	753	69		
„ Совхозу	712	33		
„ Возвратных ссуд	201	—		
„ Безвозвратн. „	30	—		
„ Разных расходов	261	65		
„ Жалован. штату	785	10		
„ Организ. вечер. и концерт.	415	24		
„ Кино-театру	1018	64		
„ за членск. значки	18	35		
„ за имущество	27	—	4223	—
Сальдо на 1 февраля . .	—	—	624	67

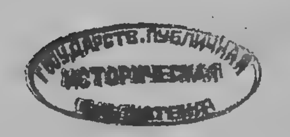
Хоз. Ком. (*Михно*).

(*Капшицер*).

ПОПРАВКА.

В статье М. С. Зеликман „Незабываемые страницы прошлого“, помещенной в нашем предыдущем сборнике „Из эпохи борьбы с царизмом“, сообщается, что на пути в Якутск в партии ссыльных ехали участники 1-го с‘езда РСДРП Б. Л. Эйдельман, Л. В. Теслер и В. Д. Солодухо-Пиразич.

Научный Сотрудник Ленинградского Истпарта, т. Г. Шидловский, в присланном письме указывает, что на основании проверенных данных точно установлено, что Л. В. Теслер и В. Д. Солодухо-Перазич (а не Пиразич) не были участниками этого с‘езда.



ОБ'ЯВЛЕНИЯ.

ТАМОЖЕННЫЕ АГЕНТСТВА.

Шепетовское Таможенное А-во, Шепетовка.

Волочиское Таможенное Агентство, Волочиск.

Городские Станции Ю.-З. ж. д. ставят себе целью оказывать клиенту максимум услуг по низким ставкам и на льготных условиях.

Городские Станции производят: продажу пассажирских билетов, транспортно-экспедиционные, складочные и ссудные операции.

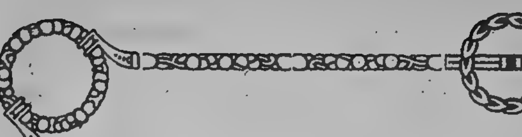
В числе льгот, оказываемых своим клиентам, Городские Станции предоставляют кредит на срок до 14 дней по оплате провозных платежей в форме текущих счетов, а также производят перевод своей комиссии и расходов по гужевой перевозке и погрузочно-разгрузочным работам на получателя.

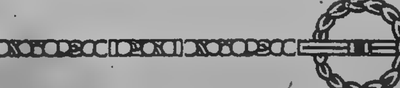
Городские Станции имеют склады, как на линейных станциях, так и в городе, располагают собственным обозом и штатом опытных экспедиторов. Заведывающие Городских Станций несут ответственность за своевременность выполнения принятых поручений. Кроме транспортных операций Городские Станции и Часть Вспомогательных Предприятий Отдела (Киев, Пушкинская 14) ведут операции по выдаче ссуд под принимаемые к отправлению и находящиеся в пути грузы (учет дубликатов) и под принятые на склады Городских Станций.

Получателям ссуд предоставлено право частичного погашения их с освобождением от залога соответствующей части товара.

Поручения принимаются по телефону

Коммерческий Отдел Правления ЮЗ'а.





В. С. Н. Х. У. С. С. Р.

УКРАИНСКИЙ МАХОРОЧНЫЙ ТРЕСТ

Управление Киев, ул. Энгельса 2.

ОБ'ЕДИНЯЕТ: 1, 2, 5, 6, 8 и 9 Государственные Махорочные Фабрики Украины в Кременчуге, Прилуках, Киеве, Нежине и Ромнах.

КОНТОРЫ: В Харькове, Москве, Гомеле и Ростове на Дону.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА: Украинбанк на Донбассе, в Одессе, Херсоне, Николаеве, Севзапторг в Ленинграде.

ПРОИЗВОДИТ ЕЖЕМЕСЯЧНО: 58.000 ящиков—160 вагонов махорки на сумму 1.100.000 р.

ЗАГОТОВЛЯЕТ ЕЖЕМЕСЯЧНО 200 000 пуд сырья, уплачивая Сельскому Хозяйству 700.000 руб. Привлекает к заготовке сырья всю низовую кооперацию, 120 специалистов—махорочников, 60 000 сельско-хозяйств. со своим инвентарем—0.000 лошадей и 80,000 одноконных возов.

ПРОДАЕТ: Курительную махорку на основании постановления Наркомвнуторга по 6 коп пачку в 50 гр в розничной продаже и продает нюхательную.

ПОКУПАЕТ: дрова, ящичный лес, бумагу и технические материалы. На первой всесоюзной сельско-хозяйственной и кустарной выставке в Москве в 1923 г. УКРМАХОРТРЕСТУ присужден диплом 1-й степени

НЕФТЕСИНДИКАТ С. С. С. Р.

Киевская Районная Контора

Киев, улица Ленина № 8.

Тел. №№ 80, 12—13, 5—44, 16—46.

Продажа по государственным ценам:

КЕРОСИНА, БЕНЗИНА, НЕФТИ, СМАЗМАЗУТА, КОЛЕСНОЙ МАЗИ, ВСЕХ СОРТОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ МАСЕЛ, ЛАМПОВОГО МАТЕРИАЛА, ТАРЫ.

С собственных складов КИЕВСКОЙ, ВОЛЫНСКОЙ и ЧЕРНИГОВСКОЙ ГУБЕРНИЙ, Расположенных при крупных жел.-дор. станциях.

Собственные Нефтемагазины

На всех базарах в гор. Киеве.

ВЕРХНЕ-ДНЕПРОВСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАРОХОДСТВО

Верхне-Днепровское Госпароходство поддерживает правильные пассажирские рейсы по следующим линиям:

Киево-Екатеринославской . . . . Ежедневно
Киево-Гомельской . . . .
Киево-Мозырь-Туровской . . . .
Киево-Черниговской . . . .
Гомель-Пропойской . . . .
Чернигов Новгород-Северской 3 раза в неделю

А также ежедневное пригородное сообщение по следующим линиям:

Екатеринослав-Верхне-Днепровской
Киево-Ржищевской
Кременчуг-Градижской
Гомель-Ветковской

Госпароходство поддерживает регулярные грузовые рейсы.

Имеется мощный вполне отремонтированный буксирный флот.

Государственные учреждения и кооперативные организации приглашаются своевременно заявить о своих перевозках по адресу г. Киев,

Правление Госпароходства

Всеукраїнське кооперативне скотарсько-молочарське товариство **„ДОБРОБУТ“**

КИЇВСЬКА КОНТОРА

(вул. 25 Жовтня ч. 3) телефон 2—13.

ПЕРЕВОДИТЬ операції по ЗБУТУ масляносирних продуктів, м'яса, сала, скоту, свиней

ПРИЙМАЄ від кооперативних товариств та спілок для реалізації на комісових умовах на місцеві різниці скот та свиней.

ПОСТАЧАЄ оборудованням молочарні та сироварні.

МАЄ власний завод молочарського приладдя „ДОБРОБУТ“ вул. Жилянська 24.

Масляний склеп—Бессарабка, критий ринок, холодільник.

Сирний склеп—вул. Воровського 11.

Крамниці й рундіки для продажу молочних й м'ясних виробів по всіх районах Києва.

У. С. С. Р. У. С. С. Р.

Акц. Общество

„УКРАВТОПРОМТОРГ“

КИЕВСКАЯ КОНТОРА

ул. Карла Маркса № 5, телефон 3-53.

Авто
Мото
и все для них. **Вело**

На складе всегда имеется большой выбор **ВСЕВОЗМОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.**

Представительство завода кипятильник „ТИТАН“.



